

— НЕКОМУ ДЕРЖАТЬ —

ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ



АЛЕКСАНДР ЭРМЕС

18+

Александр Эрмес

Десять способов умереть

«Автор»

2026

Эрмес А.

Десять способов умереть / А. Эрмес — «Автор», 2026

На севере не спрашивают, за что тебя сослали. Здесь спрашивают только одно: сколько ты ещё продержишь стену. Яр когда-то был Богатырём. Теперь у него отняли звание, заперли силу и дали десяток тех, кого уже никто не считает людьми: Витязя в откате, немого кузнеца, оборотницу, мальчишку, которого рвёт собственная мощь, стрелка с чужим прошлым и шута, который иногда знает слишком много. Им не присылают железо. Не присылают отвары. Не присылают помощь. Зато лес с каждым днём становится тише. А Яр начинает вспоминать то, чего ещё не было. Снег в открытых глазах. Три стрелы, лежащие веером. Десять человек, которых он уже однажды не сумел удержать. В прошлый раз они все умерли. На этот раз Яр собирается посчитать иначе.

© Эрмес А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Акт I. Свалка	5
Глава 1. Приговор с видом на север	5
Глава 2. Десять причин уйти в монастырь	15
Глава 3. Мелкая нежить, крупный позор	30
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Александр Эрмес

Десять способов умереть

Акт I. Свалка

Глава 1. Приговор с видом на север

Соль сдвигается на ухабах. Гвозди — нет.

Это я выяснил на первых верстах и запомнил телом: гвозди лежат в бочонках плотно, бочонки увязаны, а мешки с солью живут своей жизнью и к четвёртому дню отжали меня к самому борту. Спина у меня была деревянная от лопаток до крестца. Правое бедро я не чувствовал с полудня. Левое чувствовал слишком хорошо.

Возчика звали как-то. Он называл себя дважды, оба раза между делом, и оба раза я не расслышал — а спрашивать в третий раз было уже неловко. Так он и остался возчиком. Вёрсты я считал по нему. Он рассказывал историю про купца, который повёз на север двух коров и не довёз ни одной, и рассказ этот занимал у него примерно десять вёрст. За четверо суток я услышал его одиннадцать раз. Коровы менялись. Один раз они стали лошадьми. К последнему разу купец успел жениться.

— Ты, я гляжу, не говорун, — сказал возчик на четвёртое утро.

— Нет.

— Это правильно. На севере говорить не с кем.

Он был не то чтобы весёлый. Он был занятой. Между делом, не поворачивая головы, он сообщил мне, что на эту заставу ходят два обоза в год и что везут туда всегда одно и то же: соль и людей, которых дешевле сгноить, чем судить.

Я не стал его поправлять.

Деревни редели с каждым днём, и не так, как редет лес, — а как редют зубы. Вот три двора. Вот пустое место, где двор стоял: печная труба, обугленный сруб, крапива по грудь, уже мёртвая, но ещё стоящая. Вот ещё четыре двора, и в них ставни закрыты. Не на ночь — днём, в полдень, при свете.

— Так и живут, — сказал возчик. — Закрылись и живут.

Собак загоняли с сумерек. Я видел цепи на столбах — цепи были, собак не было, а мох на цепях говорил, что не было давно. Возчик объяснил и это: за лес не ходят, даже если знаешь дорогу, а собака дорогу знает всегда и потому пропадает первой.

К заставе мы вышли к вечеру четвёртого дня, и я узнал её раньше, чем разглядел. Так узнаёшь по запаху казённый дом: сырой овчиной, дымом от плохих дров и застоявшейся водой.

Крепостью это не было. Частокол — брёвна в два человеческих роста, серые, кое-где связанные скобами, а кое-где просто прислонённые друг к другу и стоящие по договорённости. Над воротами — навес, под навесом двое.

Один сидел. Второй стоял, потому что сидеть было негде.

Возчик остановил лошадь. Я вылез из телеги, и правое бедро отозвалось так, что я на мгновение опёрся о борт, и это было первое, что они увидели: человек, который не может стоять после дороги.

Я подал грамоту.

Тот, что стоял, взял её и стал читать. Читал долго. Я успел рассмотреть навес, скобы, полосу мокрого снега, налипшего на брёвнах с северной стороны, и понять, что он читает не потому, что разбирает буквы, а потому, что пока он читает — он не таскает воду.

— Из Вышеграда, — сказал он наконец.

— Да.

— Сам ехал или везли?

Хороший вопрос. На него нет ответа, который что-то меняет.

— Везли, — сказал я.

Он кивнул, будто я подтвердил его правоту в давнем споре, и передал грамоту второму. Второй читать не стал. Он посмотрел на телегу.

— Соль?

— Соль, — сказал возчик. — И гвозди.

— А ещё?

— А ещё соль.

Второй помолчал, взвешивая, стоит ли обижаться, и решил, что не стоит.

— Гвозди — это хорошо, — сказал он с чувством. — Гвозди нам нужнее.

Про меня они больше не спрашивали. За четверо суток я придумал три или четыре ответа на вопрос, кем был раньше, и ни один не понадобился. Их интересовало, привёз ли я что-нибудь съедобное. Ещё лучше — что-нибудь выпить.

Я не привёз.

Это они пережили молча и с достоинством, как переживают известие о смерти дальнего родственника.

— Открывай, — сказал первый.

Второй пошёл к воротам. Я стоял, опираясь на борт телеги, и в этот момент со мной случилось то, из чего потом выросло всё остальное, — а тогда это было ничем, мелочью, не стоящей упоминания.

Створка пошла внутрь, и петли завyli.

Не заскрипели. Скрипят двери в горнице. Это был звук на два голоса: сначала низкий, короткий, будто внизу что-то оторвалось, а потом тонкий, тянущийся, поднимающийся к концу.

Я вздрогнул.

Не от звука. Звук был мерзкий, но мало ли я слышал мерзких звуков. Я вздрогнул потому, что за мгновение до того, как створка пошла, я уже знал, что услышу: сначала низкий, потом тонкий, поднимающийся к концу. Я ждал его. Я ждал его так, как ждёшь второй ступеньки на своём крыльце.

А я никогда в жизни здесь не был.

Четверо суток без сна. В телеге не спится: соль давит, гвозди звенят, возчик женит купца. До телеги был год, о котором я не буду рассказывать, потому что рассказывать там нечего — там была ямная тишина и я в ней. После такого голова работает как чужая. Мне уже мерещилось за дорогу и похуже: на второй день я отчётливо слышал, как меня зовут по имени с поля, где никого не было.

Так я себе и объяснил.

Объяснение было ровное, разумное и никуда не годилось, но других у меня не имелось, а стоять на ветру и разбираться с собой было холодно.

— Заходи, — сказал тот, что стоял. — Или ты передумал?

Я усмехнулся. Первый раз за четверо суток — и то потому, что он не шутил.

— Не передумал.

— Ну и зря, — сказал он и посторонился.

Я подобрал мешок и вошёл, и створка пошла обратно, и петли завyli снова: сначала низкий, потом тонкий, поднимающийся к концу.

Точно так, как я ждал.

* * *

Горница у воеводы была такая, что в ней нельзя было развернуться, не задев чего-нибудь плечом. Я задел. Что-то упало, я поднял, поставил обратно и только потом разглядел, что это: обломок наконечника, вершка в три, с оплавленным краем. Он лежал на бумагах вместо груза, и по тому, как аккуратно я его вернул на место, воевода понял обо мне больше, чем из грамоты.

— Оставь, — сказал он. — Он там уже четвёртый год лежит.

Дым от печи шёл в горницу — не весь, но достаточно, чтобы стоять хотелось у двери. У окна, затянутого промасленным пузырьём, сидел писарь и переписывал что-то, не поднимая головы. За всё время он не поднял её ни разу. Я до сих пор не знаю, какое у него лицо.

Воевода был немолод и не зол. Это я определил сразу, и это было хуже, чем если бы он оказался зол. Со злым можно что-то сделать. Он взял грамоту, отодвинул наконечник, положил её на стол и стал читать — не быстро и не медленно, как читают четвёртую бумагу за день из шести.

Я знал, что там написано. Я эту грамоту вёз четверо суток и один раз, на третью ночь, всё-таки развернул.

...по совокупности содеянного, а равно по свидетельству лиц, при том бывших...

Про содеянное там не было ни слова. Ни одного. Такова казённая работа: в бумаге, которая ломает человеку жизнь, никогда не пишут, за что, — пишут только, чего он больше не имеет.

...лишить звания Богатыря с изъятием знака и грамоты о том...

...лишить права держать людей числом свыше десяти...

...лишить содержания, надела и права въезда в стольный град Вышеград...

...числить в ступени Гридны и направить...

И подпись. Подпись я запомнил лучше всего остального: широкая, размашистая, с нажимом на последней черте, так что чернила прорвали бумагу. Он всегда так подписывал. Он и раньше при мне так подписывал — приказы, награды, разрешение на мою же свадьбу, которой потом не было.

Громобой.

Воевода дочитал и положил бумагу лицом вниз. Это была вежливость, и я её отметил.

— Не спрашиваю, — сказал он.

— Не спрашиваете?

— За что. — Он потёр глаза основанием ладони. — Я четыре года спрашивал. Потом перестал. Знаешь почему?

— Нет.

— Потому что мне всё равно одинаково: за что тебя, за что вон того, за что немного. Мне надо, чтобы стену держали.

Это была первая честная фраза, которую я услышал за год. За тот год я слышал много слов — сочувствующих, объясняющих, увещающих, и все они ввали, а эта не ввала. Мне даже стало легче.

— Стену буду держать, — сказал я.

— Посмотрим.

Он не спросил, как меня зовут. Грамота лежала лицом вниз, имя моё было на той стороне, и он не стал переворачивать. Дальше он всё время говорил мне «десятник» — не как званием, а как обращаются к печке «печка». Обиды я не почувствовал. Так было проще нам обоим: имя обязывает помнить, а помнить он не собирался.

— Десяток твой, — сказал он и придвинул к себе другой лист, разлинованный на два столбца.

Я ждал, что он поведёт меня во двор. Что будет строй, перекличка, что мне назовут людей и я хотя бы увижу, с кем мне тут жить. Ничего этого не было. Он читал список.

— Витязь один. Зовут Петля. — Он поднял на меня глаза, и это был единственный раз, когда он посмотрел на меня внимательно. — Этого не трогай.

— В каком смысле не трогать?

— В том смысле, что он тебя переживёт. — Воевода вернулся к листу. — Витязь второй, Кряж. В откате. Был выше, сейчас нет. Держи от него дальше всё, что бьётся.

— Он...

— Витязь третий, Ствол. Стрелок. Говорит мало, врёт ещё меньше. — Он вёл пальцем по столбцу и ни разу не сбился, из чего я понял, что список он знает наизусть и читает для порядка. — Кузнец. Немой. Кличут Молчан, потому что ничего другого не придумали. Ковать не может. Кузня есть, кузнец есть, железа нет.

— Отчего не может?

— Оттого. — Он перевернул лист, посмотрел на обратную сторону, где ничего не было, и перевернул назад. — Ведунья. Зима. Оборотень. Ты об этом не спрашивай, она не любит.

Он назвал ещё волхва, с пометкой «за ересь», и стрелка Жарку, с пометкой «не подпускать к сену», и Щура, у которого в столбце стояло одно слово — «вор», и мальчишку Гнёта, у которого стояло «семнадцать», и это была самая длинная пометка из всех, потому что дальше воевода добавил вслух:

— С этим у тебя будет беда.

— Какая?

— Живая.

И последнего он назвал так, что я решил, будто ослышался.

— Блажь.

— Это кличка или...

— Это диагноз, — сказал воевода. — Он у нас не классифицирован. — Он произнёс это слово с той особой тщательностью, с какой люди выговаривают то, что переписали из чужой бумаги. — Приезжали двое из Вышеграда, смотрели его две недели и уехали, не дописав. Так и висит.

Он отложил список.

— Десять, — сказал я.

— Десять.

— А одиннадцатый?

— Одиннадцатого схоронили в конце лета. — Воевода придвинул наконечник обратно на бумаги, точно на то место, где он лежал четвёртый год. — Ты у них четвёртый десятник. За год. Двое ушли сами.

— Как это — сами?

— Один написал прошение, и я его подписал. — Он помолчал. — Второй сам.

Я не стал уточнять. За окном писарь скрипел пером, и в этом скрипе было больше жизни, чем во всём нашем разговоре.

— Служба такая, — сказал воевода. — Держишь северный участок стены. Ходишь на прорехи, когда откроются. Докладываешь. И — главное — не поднимаешь шума.

Слово «прореха» он произнёс так, как говорят «протечка». Без нажима, без пояснений, тем ровным тоном, которым сообщают, что кровля течёт над третьей клетью и что этим займутся, когда сойдёт снег. Я тогда решил, что понимаю, о чём речь. Я понимал, но не так.

— Сколько их обычно?

— По-разному. Осенью реже, к весне чаще. Прошлую весну было девять. — Он посмотрел на меня и, кажется, впервые что-то мне пожелал. — Тебе бы до весны продержаться.

— Отвары?

— Нет.

— Совсем?

— Отваров Яри нет с середины осени. Железа нет третий месяц. Хлеба на две трети от положенного, но хлеб хоть какой-то идёт. — Он сказал это ровно, как погоду. — Дороги. Осень, распутица, обоз стоит в Дубках, дальше не идёт. Я писал трижды.

— И что отвечают?

— Что дороги.

Я это принял. Мне не с чем было сравнить: я не знал, сколько отваров положено штрафной заставе на северном рубеже и как часто здесь встают обозы. Дороги — это было объяснение, к которому я не имел возражений. Ровное, разумное и никуда не годное, но у меня, как выяснилось за последние сутки, других и не бывало.

Я запомнил его на четыре месяца вперёд и до главного дошёл слишком поздно.

— Всё? — спросил воевода.

Я подумал. Спросить хотелось многое: чем они дерутся, если железа нет; что с немым; кого схоронили в конце лета и как. Ничего из этого мне бы сейчас не пригодилось, а спрашивать бесполезное было незачем.

— Где спать?

Воевода посмотрел на меня — и вот здесь у него в лице что-то дрогнуло. Не сочувствие. Что-то вроде того, что бывает у человека, который в двадцатый раз выигрывает один и тот же спор с самим собой.

— В казарме с ними, — сказал он. — Десятницкая была, да в ней с лета кровля пошла. Можешь в ней, если тебе всё равно, что на голову капает.

— А в казарме?

— А в казарме тебе всё равно не будет.

Я взял свой мешок.

— Десятник, — сказал он, когда я уже был у двери.

Я обернулся.

— Ты кровлю в десятницкой не чини, — сказал воевода. — Люди не любят, когда новый начинает с себя.

Я вышел. Наконечник остался лежать на бумагах, писарь — над списком, дым — под потолком, а я так и не услышал за всю беседу своего имени и, честно говоря, был этому рад: имя у меня было хорошее, и трепать его здесь не стоило.

* * *

До темноты оставалось часа два, и я потратил их на то, что положено делать новому десятнику: обошёл всё, что мне предстояло держать.

Начал с частокола, потому что с него начинают.

Брёвна стояли в два человеческих роста, и это была правда только с южной стороны. С западной их было полтора: землю подмыло, брёвна сели, и снизу открылась щель в ладонь, через которую я увидел мокрый снег и корни. Щель была заложена хворостом. Хворост был свежий. Значит, её закладывали недавно, значит, знали, значит, закладывали хворостом не от глупости, а потому что больше нечем.

Скобы держали брёвна в семнадцати местах. Я посчитал. В двадцати трёх местах скоб не было, и там брёвна держались друг за друга — тем способом, каким держатся друг за друга пьяные: каждый в отдельности упал бы, а вместе стоят.

Потом я поднялся на кровлю над третьей клетью, где, по словам воеводы, текло.

Текло не только над третьей.

Внутри, вдоль стены, стояли вёдра. Их было девять, и стояли они не как попало: расстояния между ними были разные, но правильные, и было видно, что порядок этот выучен и что новый человек, поставив ведро на глазок, поставил бы его не туда. Кто-то здесь знал кровлю лучше, чем плотник. Я походил вокруг и нашёл десятое место — сухое, без ведра, с тёмным

потёком на полу. Там ведро когда-то стояло, а теперь не стояло, и я не понял, оттого ли, что перестало течь, или оттого, что ведро понадобилось на другое.

Оружейная была заперта.

Отпирал мне её человек из гарнизона, длинный, с воспалёнными веками, и отпирал долго — не потому, что замок был хитрый, а потому, что цепь была намотана в четыре оборота, и разматывал он её с той бережностью, с какой разматывают то, чего боятся уронить.

Внутри было чисто.

Я хочу, чтобы это было понято правильно. Не пусто — чисто. Пятнадцать копий стояли в козлах древками книзу, наконечники смазаны, и на каждом наконечнике лежала своя тряпица. Три меча висели в ножнах, и ножны были подтянуты ремешком, чтобы не болтались. Топоры лежали лезвиями от двери. Тетивы висели отдельно, в промасленной коже, в углу, где не сквозит.

Оружия было мало. Оно было в таком состоянии, в каком у меня в Вышеграде не было ничего.

— Это кто так? — спросил я.

— Немой, — сказал длинный.

— Кузнец?

— Он самый. Ковать не может, а это может. — Длинный поправил тряпицу на наконечнике, которую я сдвинул. — Не трогай особо. Он не скажет ничего, но потом два дня будет смотреть.

Я убрал руки за спину.

Кухню я нашёл по звуку.

Спорили двое, и спор шёл о котле — не о том, что в котле, а о том, в каком порядке из него черпают. Из десяти слов, которые я успел услышать, семь были про справедливость. Пока я стоял в дверях, к спору присоединился третий и предложил новое правило, которое учитывало ночные дежурства. Правило было разумное, и его отвергли двое против одного по причине, которую я не разобрал, но которая, судя по лицам, имела корни где-то в прошлом году.

Я потом полгода разбирался в этой политике и так до конца её и не понял. Скажу одно: княжеский двор в Вышеграде устроен проще. Там всё решает один человек, и потому там скучно.

Людей на заставе было сорок с чем-то, и они меня осмотрели все. Не в глаза — так осматривают проходящую телегу: не человека, а груз. Никто не подошёл. Никто не спросил, кто я и за что. Я сначала решил, что это гордость, потом — что осторожность, а к вечеру понял правильно: это была гигиена. Здесь у каждого была своя бумага, и в каждой бумаге не было написано, за что. Спросишь — придётся отвечать. Проще жить, не зная.

Меня это устраивало полностью.

А потом я сделал глупость.

Я стоял у оружейной, смотрел на копья, и рука сама потянулась взять одно и попробовать на весу. Это старая привычка — на весу оружие говорит о себе больше, чем на вид. Я взял, и мне не понравилось, как оно легло, и я, не думая, сделал то, что делал двенадцать лет двадцать раз в день: потянулся к Яри.

Раньше это было — как вдохнуть.

Тебе не надо думать, где воздух. Ты не ищешь его, не считаешь, не отмериваешь: ты просто вдыхаешь, и он есть, и его больше, чем тебе нужно, всегда. Двенадцать лет я жил с этим и, как всякий, кто дышит, ни разу об этом не задумался.

Я потянулся — и достал сразу.

Мгновенно, без глубины, без усилия. Рука пошла и через полвершка встала. Тело ждало расстояния и не нашло его, и остановилось само, как останавливается человек, шагнувший в темноте на стену там, где была дверь.

Первую неделю я думал, что колодец обмелел.

Это неправда, и это самое поганое во всём, что со мной сделали.

Колодец не обмелел. Его накрыли.

Я стою над ним, и через доски мне слышно всё, что там есть. Вся моя прежняя мера. Вся, до последней капли, ровно та, с какой я год назад входил в любое дело и выходил, вытирая руки. Она не убыла ни на пядь. Она подо мной. Я чувствую её так, как чувствуешь через половицы, что в подполе стоит вода — не видишь, а знаешь, и знаешь даже, сколько.

И она не проходит.

Дают через щель. Щель отмерена, и отмерял её не я.

Там было на четыре минуты. Может, на пять.

Копьё я поставил обратно и постоял, дыша. Меня не скрутило. Скручивает от потери — а у меня ничего не потеряно, у меня всё на месте и всё закрыто, и как с этим быть, мне никто не объяснил, потому что объяснять было некому и незачем.

Отняли бы — я бы горевал и привык. К отнятой руке привыкают, я видел таких, они живут и даже смеются.

К руке, которую тебе привязали к телу и не велели ею шевелить, не привыкает никто.

Я перестал думать об этом и пошёл к северной стене, и на полдороге двор затих.

Не весь. Затихла та часть, через которую шёл человек.

Он шёл от казармы к воротам, не быстро, и в нём не было ничего, что заставляет затихать: средний рост, не широкий, шаг ровный, руки пустые. Спор у котла не кончился — он стал тише на два тона и продолжился в этой тишине, как продолжают говорить в горнице, где спит больной.

Он посмотрел на меня. Я на него.

Взгляд был не оценивающий, не враждебный и не любопытный. Он посмотрел на меня так, как смотрят на бумагу, в которой уже прочитали то, что нужно, и теперь дочитывают из вежливости.

Он не заговорил.

Я тоже не заговорил, и это было единственное разумное, что я сделал за весь тот вечер. Я не знал ни его имени, ни ступени, ни за что он здесь; воевода назвал мне десять кличек, и я не мог поставить кличку к лицу. Мы отметили друг друга и разошлись, и во дворе снова стало нормально шумно.

К лестнице на северную стену я подошёл в сумерках.

Лестница была приставная, но капитальная — из пяти ступеней, широких, на врытых стойках; такие ставят, когда наверх ходят с грузом. Я пошёл по ней, думая о частоколе и о том, что хворост надо будет менять до морозов, потому что мёрзлый хворост крошится.

На третьей ступени я перешагнул.

Не оступился, не споткнулся, не поправился — перешагнул. Заранее. Так, как переступают вторую ступеньку своего крыльца, которую отец обещал починить и не починил, и ты уже двадцать лет ходишь через неё, не глядя и не помня, что делаешь.

И только когда нога встала на четвёртую, я понял, что произошло.

Я обернулся и посмотрел вниз.

Третья от угла просела. Правым краем, вершка на полтора, и стойка под ней ушла в землю косо. Если стать на неё всей ступнёй, она отзовется вбок, и человек с грузом на плече поедет вправо, к перилам, которых там нет.

Это было видно. Сейчас, обернувшись, я это отчётливо видел.

Я не смотрел вниз. Я поднимался, глядя перед собой, и думал о хворосте.

Я стоял на лестнице, посреди, между третьей и четвёртой, и не мог заставить себя двинуться ни туда, ни туда. Снизу шумел двор. Кто-то у котла назвал кого-то дураком, и это было первое человеческое слово, которое до меня дошло.

Год в яме. Четверо суток в телеге. Голова после такого работает как чужая — я уже говорил, и это правда, и на второй день дороги меня звали по имени с пустого поля.

Ступеньку я мог заметить краем глаза и не заметить, что заметил. Люди так и делают. Тело умнее нас, оно видит и молчит.

Это объяснение было ровное, разумное и никуда не годилось.

Я взял его, как берут единственную сухую вещь в дороге, поднялся на стену и стал смотреть на север, где было ещё светло по кромке и уже совсем темно внизу.

* * *

Дежурство мне дали в ту же ночь.

Я успел подумать, что это проверка, и почти обрадовался: проверку можно пройти. Потом я посчитал сорок с чем-то человек на четыре участка стены и понял, что никакой проверки нет и что меня поставили в первую же ночь по той простой причине, по которой в дырявой лодке черпают все, у кого есть руки.

Напарником мне дали старика.

Звали его Курята. Он назвал себя сразу, внятно, с первого раза — и это было так необычно за тот день, что я даже переспросил. Ему было шестьдесят, может, больше; лицо у него было такое, будто его вырезали из корня и много лет держали на ветру. Он принёс факел, поставил его в железное кольцо на верхнем венце, и мы полночи стояли, закрывая огонь телом с той стороны, откуда тянуло.

— Ты бы поспал сперва, — сказал он. — Тебя с дороги-то не жалеют.

— Не спится.

— Это ничего. Первую неделю никому не спится. — Он подышал в кулак. — Потом начинает спать так, что не разбудишь. Это хуже.

Он был первым за весь тот день, кто говорил со мной как с человеком. И говорил он со мной так, как говорят со смертником: без злобы, без опаски, подробно и в охотку. Смертнику можно рассказать всё. Он никуда не разнесёт.

Курята объяснял мне службу — не по уставу, а по правде.

— Прорехи ходят вон там. — Он показал рукавицей влево, где темнота была ничем не хуже темноты справа. — По низине, где вода. Дальше по осоке, дальше к омутам. Не каждая на одном месте, но все в той полосе. Сухого места они не любят.

— Отчего?

— А кто их знает, отчего. — Он пожал плечами так, будто я спросил, отчего вода течёт вниз. — Ты, десятник, вот что запомни: как открылась — не беги первым. Никогда. Первый, кто добежал, всегда сам и разгребает.

— А если близко к деревне?

Курята посмотрел на меня искоса.

— Вот это ты правильно спросил, — сказал он с одобрением, от которого мне стало не легче. — Тогда беги. Тогда придётся.

Он рассказал, куда не смотреть.

Это оказалось самое главное правило заставы, и оно не было записано ни в одной бумаге. На стене ночью не смотрят в одну точку долго. Выбрал участок — прошёл его глазами и перевёл. И ещё: если внизу, у частокола, что-то показалось и тебе очень хочется наклониться и посмотреть, — не наклоняйся, а оклики второго. Второй посмотрит за тебя.

— Отчего не наклоняться?

— Потому что двое за прошлую весну наклонились, — сказал Курята.

Потом он рассказал про собак.

Загонять начали не с этой осени и не с прошлой. Так делали и раньше, в его молодости, но раньше загоняли к полуночи, а теперь загоняют с сумерек, и не потому, что собак жалко, а потому, что собака лезет туда, куда человек не полезет, и приводит за собой то, что за ней

пошло. Он сказал это без всякой жути, обстоятельно, как объясняют, почему сено не мечут в сырость.

— А у нас сейчас собак и нету, — добавил он. — Была одна, летняя ещё. Ушла.

— В лес?

— В лес.

И тут он замолчал, и молчание это было другого качества, чем всё, что он говорил до сих пор. Он подышал в кулак, поправил факел, который не нуждался в поправке, и сказал:

— Про лес тебе кто говорил уже?

— Возчик. Что за него не ходят.

— Ну, это все говорят. — Курята взгляделся на север, в сплошное, и я заметил, что он смотрит не долго, а короткими взглядами, как сам меня учил. — А ты послушай сейчас.

Я послушал.

Ветер шёл с северо-запада, невысокий, стелющийся; он тащил по стене мокрую крупу и шуршал ею по брёвнам. Внизу, во дворе, кто-то прошёл с ведром. Скрипнула дверь казармы, потом ещё раз. Дальше, за частоколом, был луг, и в лугу что-то шевелилось — сухая осока, наверное.

А потом луг кончался, и начинался лес, и из леса не приходило ничего.

Совсем ничего. Ни птицы — птицы в конце осени есть, они шумят по-своему, коротко и сварливо. Ни треска. Ни того особенного дальнего гула, который бывает всегда, когда ветер идёт по верхушкам: он идёт по низу, шуршит крупой у моих ног — и не поднимается там, где должен.

Ветер доходил до кромки леса и в лес не входил.

— Третью неделю, — сказал Курята. — С Покрова примерно.

— И что там?

— А ничего. Вот то и страшно, что ничего. — Он потёр щёку рукавицей. — Ты не думай, я вой слышал. Я и волколака слышал в шестьдесят второй год, вот как тебя. Так вой — это ж хорошо. Вой — это кто-то живой. Он выл — я знал, где он и что ему надо. А тут...

Он искал слово и не нашёл. Он был неграмотный старик, у него не было слова, а если бы и было — на заставе такого слова тоже пока не имелось.

— Тихо стоит, — сказал он наконец. — Так и говорим: тихо стоит.

Я смотрел на север.

Я знал это до того, как он сказал.

Не так, как знаешь приметку или догадываешься по признакам. Курята объяснял мне про лес, и я слушал его с интересом, а внутри у меня всё это время шло ровное, спокойное, чужое согласие: да, конечно. С Покрова. Ветер не входит. Так и есть.

И к этому согласию было приложено ещё кое-что, чего Курята мне не говорил, потому что не знал.

Тишина растёт.

Она не стоит на месте — она подходит. Медленно, не по дням, а по неделям, кромка за кромкой, и осока в лугу — это ещё наше, а через месяц, может, полтора, осока замолчит тоже. И вот тогда придётся уже не смотреть, а решать.

Откуда я это взял, я не знал.

Я стоял на своей стене, у своего факела, с рукой на тёплом железном кольце, и в первый раз за весь день мне стало по-настоящему плохо — не от страха, а от того, что во мне поселился кто-то, кто знает больше меня и не собирается объясняться.

— Ты чего? — спросил Курята.

— Ничего.

— Побледнел.

— Четверо суток в телеге, — сказал я.

Он принял это охотно. Хорошее объяснение, всех устраивает.

Мы простояли ещё часа два, и он рассказал про весну шестьдесят второго года и про воеводу, который был до нынешнего, и оба рассказа были длинные и с подробностями, и я слушал не всё.

Потому что я начал считать.

Сорок три человека гарнизона, из них на стену годны, дай бог, тридцать. Пятнадцать копий, три меча, топоров штук девять. Тетивы в промасленной коже — я не спросил, сколько луков. Надо спросить. Отваров Яри нет с середины осени; железа нет третий месяц; хворост в западной щели надо менять до морозов, потому что мёрзлый крошится. Кровля течёт в девяти местах и в десятом, где ведро зачем-то убрали. Прорехи ходят по низине, по осоке, к омутам, и к весне их бывает девять. Тишина в лесу — три недели и растёт. До первого снега — недели две. Люди: Витязь, которого не трогать; Витязь в откате, от которого убрать всё, что бьётся; стрелок, который врёт меньше, чем говорит; немой, который не может ковать, но чистит наконечники так, как в Вышеграде не чистили; оборотень, которую не спрашивать; мальчишка семнадцати лет, с которым будет живая беда; и один, который не классифицирован.

Я не собирался ничего считать.

Я приехал сюда доживать. Я вёз в мешке две рубахи, и это был весь мой расчёт на будущее: рубах хватит года на два, а больше двух мне здесь никто и не обещал. Я четверо суток в телеге не думал ни о снабжении, ни о людях, ни о том, из чего сложен частокол, — я думал о том, чтобы не давила соль.

А теперь я стоял и считал хворост.

Оказалось, что привычка держать людей живучее, чем звание, которым тебе это разрешили. Её не изымают по грамоте. В грамоте написано, что я лишён права держать людей числом свыше десяти. Про то, что я перестал быть человеком, который их считает, там не написано ничего.

Курята ушёл менять факел.

Я остался один на северной стене, и подо мной была застава, которую сваливают в яму по частям, а передо мной — чёрный лес, из которого третью неделю не приходило ни звука.

Я здесь впервые.

Я здесь не впервые.

И ни одно из двух не отменяет второго.

Глава 2. Десять причин уйти в монастырь

Я велел передать через Куряту, что жду всех у оружейной с рассветом.

Курята посмотрел на меня с той жалостью, с какой смотрят на человека, заказавшего в дорогу телегу до Царьграда.

— Передам, — сказал он.

— Что не так?

— Всё так, — сказал Курята. — Передам, десятник.

Рассвет на северном рубеже в конце осени — понятие приблизительное. Небо не светлеет, а разбавляется: было чёрное, стало серое, и в какой-то момент ты понимаешь, что уже видишь свои руки. Я стоял у оружейной с того момента, как увидел свои руки, и простоял так час с четвертью.

За этот час я узнал о своём десятке больше, чем узнал бы за месяц смотров.

Первым был тот, кого не было.

Я имею в виду, что он был. Я его просто не сразу нашёл. Когда я вышел, во дворе было пусто, если не считать телеги без колеса, которая стояла у восточной стены с прошлой весны и уже проросла в землю. Я обошёл двор, вернулся к оружейной и краем глаза поймал движение там, где движения быть не могло.

Человек сидел на корточках за телегой, спиной к брёвнам, и делал вид, что он часть телеги. Ему это почти удавалось. Он был невысокий, узкий в плечах, лет под тридцать. Лицо обыкновенное, не запомнишь, даже глядя прямо. Живые только глаза, и те полуприкрыты. Сутулился он не от спины, а нарочно: человек, который двадцать лет учился быть на полголовы ниже, чем есть. На поясе у него было намотано в три оборота саженой десять тонкой верёвки, и намотано хозяйственно, узел к узлу, — единственная вещь при нём, о которой было видно, что она ему дорога. Правый рукав он держал натянутым до костяшек, хотя утро было не такое холодное.

— Щур, — сказал я.

Он поднял голову.

Он поднял голову медленно, аккуратно, и в этой аккуратности впервые за утро мелькнуло что-то настоящее — вроде как человек проверяет, точно ли под ним лёд.

— Я мимо шёл, — сказал он.

— Ты сидишь.

— Присел.

Я не стал спорить. Я стоял и держал в себе холодное неудобство, потому что вспомнил кое-что.

Воевода вчера читал мне их списком. Клички, пометки, ничего больше: этот немой, этот в откате, этого не трогай, этот не классифицирован. Ни роста, ни лет, ни лиц. Воевода не смотрел на меня, когда читал, и уж точно не описывал мне, как выглядит человек по кличке Щур.

А я вышел во двор, поймал глазом движение за телегой и назвал его правильно с первого раза.

— Ты меня знаешь, что ли? — спросил он.

— Нет.

— А назвал.

— Угадал, — сказал я.

Он посмотрел на меня ещё немного и решил, что я вру, — это было видно так же ясно, как если бы он сказал это вслух. Врущему десятнику он был готов простить многое; врущий десятник — понятная вещь. Он даже слегка расслабился.

Мне бы его спокойствие.

Вторым пришёл Верес.

Он пришёл вовремя, то есть с рассветом, то есть единственный из всех, кто понял приказ так, как он был сказан, и я успел обрадоваться. Он был лет под тридцать, сухой, длинный, с руками, испачканными чем-то бурым до середины предплечья, и с той особенной рассеянностью на лице, которая бывает у людей, продолжающих думать о своём даже когда с ними разговаривают. Позже я узнал, что бурое — это уголь, смешанный с чем-то, что он готовит сам, и что руки у него такие всегда, и что под ногтями оно не отходит вообще. На шнурке через плечо у него висел мешочек, плоский и мягкий, вроде кошеля, и он к нему то и дело прикладывал ладонь — не проверяя, а как прикладывают руку к боку, где болит.

Он остановился передо мной, посмотрел мне в лицо очень внимательно и сказал:

— А правда, что тебя судили закрытым порядком?

Я молчал ровно столько, чтобы он успел понять. Он не понял.

— Потому что если закрытым, — продолжал он с искренним интересом, — то это очень любопытно. Закрытым порядком судят по трём поводам, и два из них к тебе не подходят по возрасту. Значит, третий. Я всё думал, какой у тебя третий.

— Верес, — сказал я.

— Да?

— С рассветом здесь надо было стоять. Ты стоишь. Это всё, что мне от тебя надо сегодня.

— А, — сказал Верес. — Хорошо.

И он встал рядом и стал стоять, и вид у него был совершенно удовлетворённый, и я понял, что он не издевался. Ему просто было интересно, и он не видел причин, почему интерес нужно скрывать.

Третьей пришла Жарка.

Она пришла быстро, злая с самого начала, будто спор у нас уже шёл, а я в нём просто отставал.

— Это ты нас всех тут собираешь?

— Я.

— С рассветом?

— С рассветом.

— С рассветом Кряж не встанет, — сказала она. — Он третьи сутки не встаёт, и не встанет и завтра, а ты его в первый же день записал в нерадивые, да? Так вот, он не нерадивый.

Ей было лет двадцать. Рыжая, коротко стриженная — не по обычаю, а, судя по неровному краю, по необходимости. У неё были обожжённые до глянца тыльные стороны кистей и брови, отрастающие заново, и росли они неправильно: левая — вверх, короткой щетинкой, отчего лицо у неё всегда было чуть удивлённое, даже когда она собиралась драться. А одежда на ней была вся в мелких подпалинах — по рукавам, по вороту, по подолу, круглых, с обгоревшим краем. И все до единой — на своей.

— Я его никуда не записал, — сказал я.

— Ага. Пока.

— Как тебя звать?

— Жарка. — Она сказала это с вызовом, будто кличка была обвинением, которое ей уже надоело отрицать. — И я не спалю оружейную. Один раз было, и это не оружейная была, а сушильня, и там всё равно всё сгнило.

— Я не спрашивал.

— Ты подумал, — сказала она.

Я не подумал. Но воевода, надо признать, написал.

Четвёртым — Гнёт.

Мальчишка. Семнадцать, длинный, нескладный, с руками, которые ему были ещё велики, и с той походкой, которой подросток идёт, когда всерьёз решил, что ему всё равно.

Кости у него торчали везде, где положено и не положено, — в плечах, в ключицах, в коленях, и было видно, что он растёт прямо сейчас, вот в эту осень, и что тело за ним не успевает. Он подошёл, встал не там, где я показал, а на два шага в сторону, и посмотрел мимо меня.

— Ну? — сказал он.

— Ближе встань.

— Мне и тут хорошо.

— Ближе.

Он подождал ровно столько, чтобы это было заметно, и сделал полшага. Половину. Он честно отмерил себе половину и был этой половиной страшно доволен. Из носа у него, я заметил, шла тонкая тёмная полоска, засохшая, старая, дня двухдневная — вытирали, но не всё. А по вороту рубахи с обеих сторон стояли бурые тени, вьёвшиеся, застиранные до желтизны и всё равно видные: так не пачкаются один раз. Так пачкаются всю осень.

— Кровь, — сказал я.

— Ударился.

— Обо что?

— Об землю, — сказал Гнёт. — Она большая.

Жарка сзади фыркнула, и в этом фырке было куда больше, чем смех: она отвернулась слишком быстро.

Пятым пришёл Молчан.

Он не пришёл на построение. Он шёл через двор по своим делам, увидел, что у оружейной стоят люди, остановился, посмотрел, повернул и встал в конец. В руках у него был наконечник от копья и кусок кожи, и, встав, он не перестал работать: он продолжал править жало, не глядя на него.

Ему было под тридцать пять. Широкий, спокойный, с седой прядью не по возрасту. Ворот у него был расстёгнут на две пуговицы ниже, чем застёгивают в конце осени, и это было единственное в нём неопрятное — и сделано нарочно, потому что застёгнутое давило. Смотреть туда хотелось всем и не хотелось никому. Поперёк горла, чуть ниже кадыка, шла полоса — не рубец от ножа, а что-то другое: кожа там лежала гладкая, белая и натянутая, как затянувшийся ожог, и складка на ней была одна, ровная, поперёк. За спиной у него на поясе висел топор, и топор был странный: рукоять укорочена на добрых две пяди и обтянута кожей там, где ложится рука. Такого в оружейной не выдают. Такое человек делает себе сам.

Он поймал мой взгляд, коротко наклонил голову — не поклон, а именно «вижу тебя, стою», — и снова опустил глаза к наконечнику.

Про его горло воевода сказал двумя словами и без подробностей. Подробностей я и не хотел.

— Молчан, — сказал я.

Он снова наклонил голову.

Я хотел спросить, кто велел ему чистить наконечники, а потом понял, что вопрос глупый, и что никто ему не велел, и что это самое понятное в этой заставе из всего, что я пока видел.

Шестым — Ствол.

Он пришёл, встал где надо, руки сложил и посмотрел куда-то на кромку леса. За всё построение он не посмотрел на меня ни разу. Не демонстративно — просто у него не было в этом надобности. Лет тридцати с небольшим, костистый, с длинной шеей и очень спокойными глазами. Ни шрама, ни царапины. Третий год на заставе — и ни одной. Единственное, что у него было, — мозоли: три, на двух пальцах правой руки и на подушечке под большим, плоские, гладкие, старые, сточенные до такой ровности, какая получается не от работы, а от одного и того же движения, повторённого чаще, чем человек считает дни.

— Ствол?

— Да.

Всё. Я ждал ещё чего-нибудь, но больше ничего не было, и я потом полдня вспоминал этот разговор, потому что он был единственным за утро, который прошёл по уставу.

Седьмым — Блажь, и с ним закончился всякий порядок.

Он вышел из казармы боком, увидел меня и обрадовался так, будто мы условились здесь встретиться и он опоздал.

— Слушай, — сказал он, подходя. — Ты его не пускай.

— Кого?

— Того, который придёт и будет говорить хорошо. — Блажь остановился в двух шагах, сунул руки под мышки и покачался с пятки на носок. Он был неопределённых лет — где-то между двадцатью пятью и сорока, — с подвижным, будто чуть перекошенным лицом. И вот что я хочу сказать про него сразу, потому что это оказалось важнее всего остального: он выглядел нормально. Опрятнее Гнёта, спокойнее Жарки, здоровее Кряжа. Ровный, чистый, с ясными глазами. Если бы мне поставили этих десять в ряд и велели угадать, которого из них не смогли классифицировать, я показал бы на любого другого.

— Он придёт и будет очень хорошо говорить. Вот увидишь. Все скажут: гляди, как хорошо человек говорит.

— Тебя как звать?

— Ты не понял, — сказал Блажь с сожалением. — Я тебе про важное, а ты про звать.

— Блажь, — сказал за него Щур из-за телеги.

— Ну да, — согласился Блажь. — И это тоже.

Он ещё немного покачался, потом посмотрел на мои сапоги, потом куда-то за моё левое плечо, где никого не было, и очень внимательно послушал.

— Ничего, — сказал он мне доверительно. — Пока ничего.

Восьмой была Зима.

Я не видел, откуда она пришла, и я смотрел в ту сторону.

Она встала в стороне от всех, шагах в шести — не в строю, а как стоит зверь, выбирающий, с какой стороны уходить. Ей было года двадцать два. Тёмная, худая, с очень прямой спиной, и глаза у неё были такие, что я невольно отметил, где у меня руки. При ней не было ничего. Ни сумки, ни ножа на виду, ни ремня, ни мешка — ничего, что человек носит с собой, потому что оно его. Одна рубаша, вторая рубаша, порты, обмотки. Так ходит не бедный. Так ходит тот, кто в любую минуту готов оставить на земле всё, что на нём.

Она не поздоровалась и не назвалась.

— Зима, — сказал я.

Она посмотрела на меня, и посмотрела дольше, чем смотрели остальные, и я почувствовал, что меня, кажется, нюхают. Потом она отвернулась к северу и с этой минуты стояла так, чтобы меня не видеть.

Девятого не было.

Кряж третьи сутки не вставал, и об этом мне уже сказали дважды: Жарка со злостью и Курята — по-хозяйски, между делом, как о протёкшей кровле.

А десятым пришёл Петля.

Он не пришёл последним из небрежности. Он пришёл ровно тогда, когда собрались все, кто мог собраться, — ни мгновением раньше, чтобы не стоять зря, ни мгновением позже, чтобы не дать повода. Ему было около сорока. Среднего роста, невыразительный, чисто выбритый — единственный чисто выбритый человек на этой заставе. Сухой и узкий, без единого лишнего золотника на себе, и седой не полосой, а весь, ровно, как седеет человек, которому это сделали разом. Одет он был беднее всех и опрятнее всех. Оружия при нём я не увидел ни одного, и только к зиме понял, что нож он носит, и носит его там, откуда не достают при людях.

Он встал в строй.

Он встал в строй так, как встают в строй, — и тем самым единственный из десяти показал мне, что строй здесь всё-таки существует, и что до сегодняшнего дня он существовал не для меня.

— Петля, — сказал он. — Витязь.

От оружейной до конюшни двор притих.

Я знал, что он Витязь. Воевода сказал. Дело было не в слове.

Дело было в том, что, когда он назвался, во дворе стало холоднее — не в моём воображении, а в том смысле, в каком становится холоднее, когда открывают дверь в сени. Пар от моего дыхания пошёл гуще. Ствол, стоявший ближе всех к нему, чуть сместил вес с ноги на ногу. Гнёт перестал смотреть мимо меня и стал смотреть в землю.

Петля этого не делал нарочно. Я почти уверен, что он этого вообще не делал.

— Ярослав, — сказал я. — Гридень.

Я сказал это громко и внятно, потому что если этого не сказать самому в первый же день, то это скажут за тебя, и скажут хуже.

И пока я это говорил, у меня под левой рукой качнулись пустые ножны.

Ремень я не снял. Знак забрали, грамоту забрали, меч забрали — меч у Богатыря княжий, он выдаётся вместе со званием и отбирается вместе с ним, и отбирали его при трёх свидетелях, и один из них плакал. А ремень с ножнами — вещь личная, её не отбирают, и я год носил её по привычке, потому что снять — это было бы решение, а решений я в тот год не принимал.

Ножны без меча весят мало и болтаются. Идёшь — они стучат по бедру не в шаг, и всё время кажется, что тебя кто-то догоняет. За год я к этому привык настолько, что не замечал.

А в то утро, перед десятью людьми, заметил.

Никто не переменился в лице. Никто и не думал, что будет иначе: разжалованных на север свозят, а не назначают.

Только Верес оживился.

— Из Богатырей сразу в Гридни? — спросил он с восторгом естествоиспытателя. — Это же две ступени. Так не бывает. Обычно на одну и с сохранением содержания. А тут...

— Верес, — сказал Петля.

— Что?

— Помолчи.

Верес помолчал.

И вот в эту минуту, стоя перед восемью людьми, из которых один сидел за телегой, один разговаривал с моим левым плечом, одна стояла в шести шагах спиной, один был немой, а один был Витязь, — я в первый раз ясно понял, что мне не дали отряд.

Мне дали десять человек, которых поставили рядом.

Это не одно и то же, и разница между этим — вся моя дальнейшая жизнь.

* * *

Смотр надо чем-то заканчивать, иначе он превращается в стояние.

Я мог бы отпустить их. Я почти отпустил — и это, наверное, было бы умнее всего, что я сделал в тот день. Но я всю ночь считал хворост, и хворост стоял у меня в голове как единственная вещь в этом мире, которую я ещё способен привести в порядок.

— Западная щель, — сказал я. — Между четвёртым и пятым пряслом, где брёвна разошлись. Заложено хворостом, хворост прошлогодний. Он мёрзлый. Мёрзлый крошится. До морозов надо заменить.

Тишина.

Не враждебная. Задумчивая.

— Сегодня, — добавил я.

— Зачем? — спросила Жарка.

Я ждал «не буду». К «зачем» я не приготовился.

— Затем, что в морозы он рассыплется, и в частоколе будет дыра в полтора локтя.

— В морозы никто не лезет, — сказала Жарка. — В морозы прорех нет. Прорехи по мокрому идут, по низине. Ты спроси у Куряты, он тебе то же скажет.

— Куряту я спрашивал.

— И что он сказал?

— Что менять надо до морозов, — сказал я.

Она открыла рот и закрыла.

Я в тот момент подумал, что выиграл. Мне было двадцать четыре года, и я четыре из них командовал людьми, которые становились в строй раньше, чем я успевал сказать «становись», и я всерьёз считал, что если человек не нашёл, что возразить, то он пошёл работать.

Все действительно пошли работать.

Вот это и было самое худшее.

Хворост лежал в трёх местах: у конюшни, за баней и в самой большой куче за оружейной — и та куча была старая, чёрная и годилась разве что под растопку. Резать новый надо было на низине, у осоки, в двух перестрелах от ворот. Всё это выяснилось не сразу, а по частям, в течение часа, и выяснял это я, потому что никто мне сам не сказал.

Начал Гнёт.

Он схватил вязанку — не свою, а ту, какую взял бы человек вдвое шире его, — и потащил через двор, шатаясь, но с таким лицом, что подойти было нельзя. Он донёс. Он бросил её у щели и пошёл за второй, и второй раз он взял ещё больше, и я увидел, что у него дрожат руки от плеча, а не от кисти.

— Гнёт.

— Я несу.

— По одной вязанке.

— Я две могу.

— По одной.

Он донёс три. Четвёртую он не донёс: сел на землю на середине двора, аккуратно, будто так и собирался, и посидел, наклонив голову вперёд, чтобы не видно было лица. Когда он поднялся, у него из носа опять шло, и он вытер это тыльной стороной руки и растёр по щеке, и стало хуже, чем было.

Жарка это видела. Она стояла у щели и смотрела не на него, а на меня, и в её взгляде было ясно написано, кто именно виноват в том, что мальчишка сидит на земле.

Верес не понёс ни одной вязанки.

Он подошёл к щели, присел, посмотрел, потрогал разошедшиеся брёвна и объявил:

— Тут не в хворосте дело.

— В чём?

— В том, что четвёртое прясло просело. — Он поводил рукой в воздухе, показывая, как именно оно просело, и рука у него была умная и убедительная. — Ты можешь заложить хворостом, но к весне оно разойдётся ещё, и заложить будет уже нельзя, потому что зазор пойдёт наискось. Надо поднимать прясло. Тут нужны две жерди в подпор, и вот отсюда...

— Верес. Хворост.

— Я тебе объясняю, что хворост бессмыслен.

— Не бессмыслен. Отсрочка.

— Отсрочка — это тоже не бессмысленно, — согласился Верес с готовностью. — Но это надо называть отсрочкой, а не заделкой, иначе через месяц ты сам себя обманешь и не проверишь. Слова важны. Ты знаешь, сколько людей погибло от того, что вещь назвали не своим именем?

— Нет.

— Много, — сказал Верес.

И он остался сидеть у щели и рассуждать, и рассуждал он, между прочим, дельно — я потом об этих двух жердях вспоминал ещё дважды, и оба раза с благодарностью, — но хворост в это время не носил никто, кроме мальчишки, который не мог.

Щура я потерял на первой четверти часа.

Он был. Он таскал — я видел, как он таскал, — а потом его не стало. Я обошёл двор дважды. Он появился у щели через сорок минут, ровно к тому моменту, когда стало нужно подавать снизу, и подавал снизу так ловко и естественно, что всякий, кто пришёл бы в эту минуту, решил бы, что он работает больше всех.

— Где был?

— Здесь, — сказал Щур.

— Тебя не было.

— Значит, ты не видел, — сказал он, и это была чистая правда, и оспорить её было нечем.

Блажь принёс вязанку и начал не закладывать её, а вязать.

Он вязал из хвороста что-то. Не наспех — старательно, повернув голову набок, подтягивая прутья один к другому, и получалось у него, надо сказать, ровно. Через некоторое время я разглядел, что получается человек.

— Блажь.

— Ага.

— Что ты делаешь?

— Ставлю, — сказал он.

— Что ставишь?

— Того, кто будет стоять, — объяснил Блажь терпеливо, как объясняют ребёнку простое. — Кто-то должен стоять на месте, где дыра. Если никто не стоит, дыра думает, что она никому не нужна, и растёт. А если стоит — она стоит.

— Это хворост для заделки.

— Так я и заделываю, — сказал Блажь, обиженно. — Он же в щели будет стоять. Внутри. Ты его вложишь и заложешь, и всё равно он там будет стоять, только ты не увидишь.

Я посмотрел на его плетёного человека.

Странная вещь: он был чуть-чуть жуткий. Не тем, что похож, а тем, что стоял.

— Вкладывай, — сказал я.

Он обрадовался.

Зима ушла.

Она ушла без слова, просто её перестало быть на дворе, и я узнал об этом от Ствола, который сказал мне два слова — «Зима вышла» — и снова стал молчать. Ворота она прошла как-то так, что дежурные не помнили, чтобы её пропустили.

Она вернулась через час и принесла две жерди.

Две. Ровные, свежесрубленные, ошкуренные с одного конца — как раз в подпор четвёртому пряслу, ровно то, о чём Верес рассуждал у щели полутора часами раньше. Она бросила их на землю у стены, посмотрела на меня один раз и пошла в казарму.

— Зима, — сказал я. — Ты уходила за ворота.

Она остановилась.

— Одна. Не доложив.

Она стояла спиной, и по спине было видно, что она ждёт, когда я закончу, — не с наглостью, а так, как ждут дождя.

— В следующий раз говори мне, — сказал я.

Она пошла дальше.

Верес поднял одну жердь, взвесил и сказал с искренним восхищением:

— Хорошая. И порода правильная. Откуда она знает про породу?

Ствол за всё утро сделал ровно то, что я велел, и ни одного движения больше.

Он носил хворост. Он носил его аккуратно, по одной вязанке, ровным шагом, и когда я не сказал, куда складывать, он сложил их там, где стоял, и пошёл за следующей. Когда куча у щели выросла и стало ясно, что закладывать надо, он не стал закладывать. Он стоял рядом с ней и ждал.

— Закладывай.

Он начал закладывать.

Он делал это правильно. Он бы делал это правильно до вечера — и до вечера бы не сделал ни одной вещи, которой я не назвал вслух.

Петля не сделал ничего.

Он не отказался. Он не ушёл. Он весь этот час стоял у оружейной, привалившись плечом к столбу, — единственный человек на заставе, чья бездеятельность выглядела как служба, — и смотрел.

Он смотрел на щель. На Гнёта, который сидел на земле. На Вереса, объясняющего в воздух. На то, как Ствол ждёт приказа рядом с кучей. На Блажь, вкладывающего в дыру плетёного человека.

Он ни разу не посмотрел на меня.

И я работал весь тот час под этим взглядом, направленным куда угодно, кроме меня, и понимал каждой минутой всё отчётливее, что он не бездельничает. Он считает.

К полудню щель была заложена.

Я подошёл и посмотрел на неё, и то, что я увидел, я запомнил на всю оставшуюся жизнь, потому что это была самая точная картина того дня, какую можно было бы нарисовать.

Хворост был уложен в четырёх разных манерах. Нижняя часть — Стволом, ровно и плотно, по всем правилам и ровно до той высоты, до которой я успел показать рукой. Выше — Гнётом, наспех, крест-накрест, с торчащими наружу концами, потому что мальчишка спешил доказать, что он не сел на землю. С правого края — Щуром, и его часть была уложена так, чтобы между прутьями остался лаз, — я потом понял, что он сделал это не назло, а по привычке: он никогда не закладывал выход наглухо. Слева стоял плетёный человек Блажи, и вокруг него было пусто, потому что никто не решился набивать в него хворост.

Две жерди в подпор лежали на земле нетронутыми.

Мёрзлый прошлогодний хворост, который надо было вынуть, вынули не весь. Его вынули оттуда, откуда легко достать, а глубже он остался, и теперь новый лежал на старом, и это значило, что весной вся эта кладка сядет и разойдётся.

Девять человек. Полдня. Дыра, заделанная хуже, чем была.

Я стоял и смотрел, и во мне поднималось не бешенство, а какая-то тупая, оседающая тоска, — потому что каждый из них сделал что-то. Никто не отказался. Никто не саботировал. Каждый честно сделал свою часть работы, и все девять частей не подходили друг к другу ни одной стороной.

Я обернулся.

Петли у оружейной не было.

А у щели, справа, где никого не было ещё минуту назад, сидел на корточках Молчан.

Он вынимал старый хворост.

Он делал это молча — как иначе — и делал не спеша: доставал руками из глубины, слой за слоем, отбрасывал в сторону, лез глубже. Он выбрал всё старьё до последнего прута. Потом уложил на голое дно новый, тонкий к тонкому, толстый к толстому, комлями наружу. Потом поднял с земли обе жерди Зимы, подложил под них камни и вбил их в подпор четвёртому пряслу — двумя ударами обухом каждую, на глаз, без единой мерки.

Лаз Щура он оставил.

Он посмотрел на этот лаз, потом на меня, потом опять на лаз — и оставил его.

Плетёного человека Блажи он тоже не тронул. Обложил хворостом со всех сторон, аккуратно, чтобы стоял ровно, и заложил.

Он закончил один и за час.

Потом встал, обтёр руки о кожу на поясе, посмотрел на сделанное, наклонил голову — я уже знал этот его наклон, он означал просто «вижу» — и пошёл к себе в кузню, в которой, как я узнал через неделю, он не мог работать.

Я остался стоять у частокола.

Мне было двадцать четыре года, и до этого дня я думал, что десяток — это когда десять человек делают то, что им сказали.

Оказалось, что десяток — это когда девять человек делают то, что им сказали, а получается дыра.

* * *

Десятого я пошёл смотреть сам.

Его положили не в казарме. Ему отвели клеть у бани — тесную, с земляным полом, куда обычно кидают то, что не хочется держать под одной крышей с людьми. Курята сказал мне, что это не в наказание: в казарме шумно, а в откате человеку от шума худо. Он сказал это вскользь и пошёл дальше, а я запомнил, потому что «в откате» здесь произносили так же, как «на кровле течёт».

В клетке было темно и очень тепло. Пахло сеном, потом и чем-то кислым, как в кузне, где залили горн водой.

Кряж лежал на спине.

Он был здоровый мужик лет под сорок, широкий в кости так, что даже лёжа занимал всё, что можно было занять. И он был серый. Не бледный — серый, как затёртая тряпка, с ввалившимися глазами и с руками поверх овчины, и вот руки я разглядел прежде всего остального, потому что от них было не отвести взгляда.

Вены на них вспухли и стояли жёсткими шнурами от кисти до плеча. Кожа над ними была натянута и лоснилась, и в двух местах, у сгиба локтя, проступали тёмные разливы — как от удара, только удара не было.

А поверх этих разливов, выше и ниже, лежали старые. Их было много. Бурые, выцветшие до желтизны пятна по всему предплечью, разной давности и разного размера, наложенные друг на друга слоями, как подтёки на стене под протечкой. Я потом сосчитал, сколько раз человек может так сделать за четыре года, и вышло, что он делал это чаще, чем следовало, и что предплечья у него — это, в общем, его собственная приходная книга.

— Пришёл, — сказал он.

Голос у него был на удивление ровный. Слабый, но ровный.

— Пришёл.

— На новенького посмотреть или на дохлого?

— Посмотреть, кто у меня девятый.

— Девятый, — сказал Кряж. — Красиво считаешь, десятник. По порядку.

Он повернул голову. Одну голову — тело не шевельнулось, и я понял, что тело у него сейчас и не может.

— Садись, — сказал он. — Вон, чурбак. Только не над мной стой, ладно? Надо мной за трое суток уже все постояли. Устал я на людей снизу смотреть.

Я сел на чурбак.

На чурбаке лежала деревянная ложка.

Я её чуть не смахнул. Она лежала на самом краю, черенком к двери, и была маленькая, детская, из липы, с выщербленным краем и с тёмным гладким черенком — таким гладким, какими бывают только те вещи, которые долго держали в руке не для еды.

Я положил её на овчину рядом с ним, потому что больше девать было некуда.

Кряж скосил на неё глаза и ничего не сказал. И я тоже ничего не сказал, потому что с некоторых вещей в этой клети, как и во всей заставе, спрашивать было не принято.

— Третьи сутки, — сказал я.

— Четвёртые к вечеру.

— От чего?

Он посмотрел на меня, и в его серых, ввалившихся глазах впервые появилось что-то живое, и это была насмешка.

— От того, что я в позапрошлую пятницу вышел за околицу и сделал одну вещь, — сказал он. — Одну. Одним разом. Я тебе даже покажу как — только не сейчас, потому что если я сейчас подниму руку выше подбородка, меня начнёт рвать, и тебе придётся выходить.

— Быковёрт.

— Ты знаешь, — сказал он без всякого удивления. — Ну да. Ты же из Богатырей. Вы там все друг про друга знаете.

— Из Богатырей — это было.

— Ну и я был, — сказал Кряж. — Вот мы с тобой оба и были. Кладбище бывших, вот что тут за застава.

Он полежал молча, дыша осторожно, короткими вдохами — и я понял, что он дышит так, чтобы не двигать грудью.

— Я тебе объясню, — сказал он наконец, — чтоб ты меня в бумагу правильно записал. Я Витязь. Это правда. По бумаге, по силе, по всему — Витязь. А внутри меня всё ещё лежит то, чем я был раньше, и оно, зараза, работает. Один раз работает. Я его достаю — и оно бьёт так, как я бил в тридцать. Ровно так.

— А потом?

— А потом трое суток вот это, — сказал он, скосив глаза на свои руки. — Иногда четверо. Один раз было девять, но я тогда дважды подряд достал, и вот это, десятник, ты запиши себе: дважды подряд нельзя. Я после того девять дней не мог сам сесть на горшок, и мне его подносил вот тот, который не разговаривает.

— Молчан.

— Он. И я ему за это по сей день ничего не сказал, — сказал Кряж. — Потому что что тут скажешь. Спасибо, что подержал?

Он усмехнулся одной половиной лица.

— Ты в моём деле-то читал? Что там написано?

Я вспомнил. Воевода читал их списком, короткими пометками, и над этим он задержался ровно на два слова.

— «В откате. Не тревожить», — сказал я.

— Хорошая запись, — одобрил Кряж. — Точная. Меня четыре года так и держат: не тревожить. Я как та кровля — все знают, что течёт, и все знают, куда ведро ставить.

Он опять помолчал, потом спросил — уже без насмешки:

— Ну и как прошло? Стройся утром было?

— Было.

— И?

Я мог соврать. Мне до сих пор неясно, почему я не соврал.

— Дыра заделана хуже, чем была, — сказал я.

Кряж засмеялся.

Он засмеялся сразу и тут же перестал, потому что от смеха его согнуло, и он лежал и дышал сквозь зубы, и когда отпустило, глаза у него были мокрые, но не от смеха.

— Не надо меня смешить, — сказал он с укором. — Я серьёзно. Мне нельзя.

— Я не смешил.

— Тем и смешно.

Он подождал, чтобы дыхание выровнялось.

— Ты четвёртый, — сказал он. — За год. Знаешь про это?

— Воевода сказал.

— А как они уходили, сказал?

— Двое сами.

— Ага. Один сам, — сказал Кряж. — Один сам ушёл, второго вынесли, третий с осени в Вышеграде бумаги перекладывает, потому что у него дядя писарь. Ну а одиннадцатый умер, но он и десятником-то толком не был, три недели.

Он смотрел мне в лицо очень внимательно.

— И все четверо, десятник, начинали ровно с того же, с чего ты сегодня. Все четверо. Стройся, разберёмся, приведём в порядок, я вас сделаю отрядом. — Он выговорил это ровно, без издевки, и от этого стало хуже, чем от издёвки. — Один даже почти сумел. Красиво было. Дней шесть.

— И что помешало?

— А ничего не помешало, — сказал Кряж. — Просто он их строил, а надо было не строить.

— А что надо?

— Не мешать.

Он произнёс это и закрыл глаза, и я подумал, что он сейчас уснёт или потеряет сознание, но он не спал.

— Тут десять человек, — сказал он в потолок, — и каждый уже нашёл себе способ помирать. Свой. Один — тихонько, чтоб никто не заметил. Один — с песней. Один — за долг. Мальчишка — быстро, у него по-другому и не выйдет. Я вот — по частям, вот эту руку в позапрошлую пятницу, вторую в следующий раз. И это, десятник, единственное, что у нас всех тут осталось своего. Больше ничего нету: ни ранга, ни дома, ни имени. Способ помирать — и всё.

Он открыл глаза.

— А ты пришёл и хочешь его забрать.

Я сидел на чурбаке в тёплой вонючей темноте, и мне некуда было деть эту фразу.

— Не забрать, — сказал я.

— А что?

Я подумал.

— Отложить, — сказал я.

Кряж очень долго на меня смотрел.

— Отложить, — повторил он, будто пробовал слово на зуб. — Ишь.

И больше ничего не сказал.

Я поднялся. У двери я вспомнил то, зачем, собственно, шёл: спросить, когда он встанет, потому что мне надо было понимать, на сколько человек я могу считать до морозов.

— Сколько тебе ещё лежать?

— К пятнице встану, — сказал Кряж. — Ты не думай, я не залёживаюсь. Я тебе на проеху выйду. Толку от меня будет как от бревна, но выйду.

— Не надо бревном.

— А иначе не бывает, — сказал он. — Ты уже понял, надеюсь, как оно у нас тут: или бревном, или никак. Тут всё за что-то платится, и не в рассрочку, а вперёд.

Я взял дверь за скобу.

И тут случилось то, из-за чего я потом полночи не спал.

Я обернулся, чтобы сказать ему что-то простое — то, что говорят человеку, лежащему четвертые сутки: спи, воды принесут, к пятнице встанешь. И вместо этого мой рот сказал:

— Ставешка тебе воды поднесёт. Я скажу.

Кряж не ответил.

Я стоял у двери и слушал собственный голос, как чужой, и он ещё звенел в этой клети — короткое, ласковое, домашнее слово, которого я никогда в жизни не слышал и не мог знать: не имя даже, а то, как имя переделывают в семье.

В клети стало очень тихо.

Кряж лежал не шевелясь. Он и до того не шевелился, но теперь это было другое: он не шевелился, как не шевелится человек, который перестал дышать, чтобы дослушать.

Ложка лежала у него на овчине, у самой руки.

— Что ты сказал? — спросил он.

Голос у него был ровный. Совершенно ровный, и от этой ровности у меня по спине пошло холодом.

— Я оговорился, — сказал я.

— Что ты сказал.

— Курята, — сказал я. — Я сказал: Курята поднесёт.

Мы оба знали, что я сказал не это.

Кряж очень медленно повернул голову к стене. Рука его — та, которую он не мог поднять выше подбородка, — сдвинулась на полвершка и легла на ложку сверху, накрыв её целиком.

— Иди, десятник, — сказал он в брёвна. — Иди, ради Правы. Иди отсюда.

Я вышел и притворил за собой дверь, и постоял на холоде, пока не начали стучать зубы.

Я не знал имени его дочери.

Я не знал, что у него была дочь.

* * *

Вечером я опять пошёл к западной щели.

Не по делу. Смотреть было незачем — Молчан всё переложил, и переложил лучше, чем сделал бы я. Я пошёл потому, что в казарме было сорок человек, а мне надо было побыть в месте, где меня никто не считает.

Петля нашёл меня там.

Он подошёл не таясь и остановился рядом — на том расстоянии, на каком стоят люди, готовые к разговору, но не набивающиеся на него.

— Десятник.

— Витязь.

— Ярослав, — сказал он. — Если можно, без званий. У нас с тобой такие звания, что ими только людей смешить.

Я отметил, что он назвал меня по имени — единственный за весь день, если не считать грамоты воеводы.

— Хочешь про утро? — спросил я.

— Хочу.

— Говори.

— Тогда я по порядку, — сказал Петля. — И я тебя попрошу об одном: не перебивай, пока я не закончу. Не потому, что я обижусь, а потому, что если сбить — я половину не скажу, а половина здесь хуже, чем ничего.

Он говорил вежливо. Он говорил так вежливо, что мне почти сразу стало тошно.

— Приказ был правильный, — сказал он.

Я ждал не этого.

— Западную щель надо было заделать. Хворост действительно мёрзлый, и он действительно рассыплется, и Верес не прав в том, что она бессмысленна. Ты за одну ночь на стене нашёл настоящее место, где эта застава дырявая, и не поленился с утра его закрыть. Из четырёх твоих предшественников этого не сделал ни один. — Он помолчал. — Дальше — всё, что ты сделал дальше, было неправильно.

— Слушаю.

— Ты отдал приказ всем.

Он показал рукой на щель — коротким, точным жестом.

— Ты сказал: до морозов надо заменить, сегодня. Это не приказ, это сообщение. Приказ — это когда каждый человек знает, что делает он лично, в какой последовательности и когда закончил. Ты назвал работу, но не назвал людей. Девять человек услышали, что надо заменить хворост, и каждый пошёл заменять хворост так, как это делают у него в голове. Они не ослушались тебя, Ярослав. Они тебя исполнили. Девятью разными способами.

Я молчал, потому что перебивать он просил, а возразить было нечем.

— Второе. Ты не спросил, кто что может.

— Я не знал.

— Не знал, — согласился Петля. — Поэтому у тебя мальчишка носил вязанки. Гнёт при мне поднимал колоду, которую я поднимаю двумя руками. Он сильнее, чем ты думаешь, и слабее, чем он думает, и разница между этими двумя вещами убьёт его до Масленицы, если ей не мешать. Он взял второе, потому что ты дал ему возможность выбрать самому. Он всегда выберет второе. Всегда. Это в нём не гордость, это устройство.

— Я велел по одной.

— Ты велел после того, как он взял вторую. — Ни укора в голосе, ни нажима — он просто уточнял факт. — Опоздание на два вдоха. Так и запиши себе: два вдоха. Ты будешь опаздывать на два вдоха ещё много раз, и на прорехе за это будут платить не хворостом.

Он загнул мысленно третий палец. Не рукой — я просто услышал, как он это делает.

— Третье. Ты поставил Ствола носить.

— Он носил.

— Он лучший стрелок в княжестве Вышеградском, — сказал Петля. — Я не преувеличиваю и не хвалю. В княжестве. Он бьёт три стрелы в счёт «раз», и он их кладёт туда, куда сказано, а не туда, куда получилось. Он носил тебе хворост четыре часа, потому что ты сказал «носить». Он будет носить, пока ты не скажешь другое. Он не тот человек, который найдёт себе занятие получше, и ты никогда, ни при каких обстоятельствах не должен на это надеяться.

— А что он должен был делать?

— Ты у меня спрашиваешь?

— Да, — сказал я.

Петля впервые за разговор чуть замедлился.

— Стоять на стене, — сказал он. — Пока девять человек копошатся у дыры в частоколе на виду с северной стороны, кто-то должен смотреть на север. Никто не смотрел. Четыре часа. Я закрыл глаза.

— Четвёртое, — сказал Петля. — Ты сделал выговор Зиме.

— Она ушла за ворота одна и не доложила.

— Да. И она принесла две жерди той породы, которая нужна, тех размеров, которые нужны, и принесла их за час, потому что она чувствует, где стоит нужное дерево. Ты сказал ей: в следующий раз говори мне. — Он повернул голову. — Что она услышала?

— Что я требую доклада.

— Она услышала: не уходи.

Он дал этому осесть.

— Она уйдёт всё равно. Она уходит два-три раза в неделю, и она вернётся всегда, и в тот единственный раз, когда она вернётся не одна, — вот тогда тебе будет важно, чтобы у неё не было привычки не говорить тебе. Ты эту привычку сегодня в ней укрепил. За одну фразу.

— Что надо было сказать?

— «Спасибо за жерди. Куда ходила?» — сказал Петля. — Я не шучу. Ровно это, ровно в таком порядке.

Мне было двадцать четыре года, и меня в моей жизни разбирали по костям всего дважды: на выпускном поединке в шестнадцать и на суде. И оба раза, скажу честно, было легче.

— Пятое, и я закончу. Ты не назвал старшего.

— Я старший.

— Ты один. — Петля говорил всё так же ровно. — Ты был у щели, у конюшни, во дворе, у лаза и опять у щели. Полдня бегал один на девятерых. Отошёл к куче — работа встала. Так можно тащить пятерых, и то недолго. Десятерых так не тащат. Ты обязан назначить того, кто будет держать половину, когда тебя нет, — и назначить не потому, что доверяешь, а потому, что иначе не бывает.

— Тебя?

— Ни в коем случае.

Он сказал это быстро — и это была единственная быстрая фраза за весь разговор.

— Не меня, — повторил Петля спокойнее. — Меня они слушают, потому что боятся. Это работает, и это работает как раз до того дня, когда придёт что-то страшнее меня. Тогда всё рассыпается за один вздох. Возьми Ствола. Он не поведёт, он не решит, он не подскажет — но он передаст твоё слово в точности, а сейчас тебе нужно только это.

Он замолчал.

Ветер шёл низом, тащил по земле мокрую крупу, и с северной стороны частокола, из-за брёвен, тянуло тем нежилым холодом, который бывает от большой пустой темноты.

— Всё? — спросил я.

— Всё.

— Тогда я спрошу.

— Спрашивай.

— Почему ты стоял четыре часа у оружейной и молчал? — сказал я. — Ты видел это всё с первой минуты. Ты мог сказать одно слово — про Ствола, про мальчишку, про старшего. Одно. Ты дал этому идти до полудня.

Петля кивнул, как кивают правильному вопросу.

— Потому что если бы я сказал в девять утра, — ответил он, — ты бы услышал, что Витязь поправляет Гридня. Ты бы это исполнил и запомнил как унижение, и на прорехе ты бы стал доказывать, что ты не такой. Ты бы полез первым. Люди, которые доказывают, всегда лезут первыми. — Он посмотрел на щель. — А в полдень ты сам постоял над этой дырой минуты три и понял всё, что я тебе сейчас перечислил, до последнего пункта. Я не рассказал тебе ничего нового, Ярослав. Я только назвал это словами, чтобы ты не решил утром, что тебе показалось.

Я стоял и понимал, что он прав, и это было хуже всего.

— Тебе не всё равно, — сказал я.

— Мне всё равно, кто здесь десятник, — сказал Петля. — Мне не всё равно другое.

Он произнёс это ровно тем же голосом, каким разбирал хворост, — и потому я не сразу заметил, что воздух между нами стал холоднее. Пар от моего дыхания пошёл гуще, как утром на смотре. Крупа, лежавшая на верхнем венце частокола у самой его руки, не растаяла, а слегла и стеклянно блеснула.

— За мной идёт счёт, — сказал он. — Он большой, и он точный. Я знаю его до единицы, и я его не округляю. И я не хочу, чтобы к нему прибавилось ещё десять, потому что новый десятник учился на нас четыре месяца.

— Сколько там?

Он не ответил.

И у меня в голове, ровно и без всякого усилия, как выскакивает знакомое число из счётной книги, встало:

сто двенадцать.

Я стиснул зубы и не сказал.

Я стоял, держась ладонью за холодное бревно, и держал в себе это число, как держат во рту кровь, чтобы не сплюнуть при людях. Потому что вслух я его не слышал. И потому что мне вдруг стало ясно: если я сейчас назову его и попаду, то дальше в этом разговоре будет уже что-то, чего я не выдержу.

— Много, — сказал я.

— Много, — согласился Петля.

Он выпрямился, отошёл от частокола, и холод сразу отпустил — в один вздох, как если бы прикрыли дверь в сени.

— Я предлагаю так, — сказал он. — Я буду исполнять твои приказы. Все. Сразу, точно и без обсуждения при людях — а если приказ будет негодный, всё равно исполню, потому что десяток, который выбирает приказы, хуже плохого приказа.

— А взамен?

— Взамен я буду считать твои ошибки. Вслух. Вот так, как сегодня: вечером, вдвоём, по порядку и без крика. — Он посмотрел мне в лицо. — Это будет неприятно. Тебе будет казаться, что я тебя гноблю. Я тебя не гноблю. Я просто не умею иначе, я разучился.

— А если я скажу нет?

— Тогда я буду исполнять твои приказы, — сказал Петля, — и считать их про себя.

Мы постояли молча.

— Считаю вслух, — сказал я.

Он наклонил голову — не поклон, а тот же самый жест, что у Молчана: вижу, принял. Может, они этому друг у друга научились. Может, на такой заставе это просто вырастает само.

— Тогда до завтра, Ярослав, — сказал он и пошёл к казарме, и снег под ним не хрустел.

Ночью я лежал на своём месте у самой двери, где всегда тянет, слушал сорок человек, которые дышали, кашляли и во сне разговаривали, и не спал.

Я думал не про Петлю и не про хворост.

Я думал про то, что сказал мне Кряж в своей тёплой вонючей клетке: у каждого из них есть свой способ помирать, и это единственное, что у них осталось.

Он был прав, а Петля был прав в другом, и обе правды сходились в одну точку, и точка эта была очень простая.

Мне не дали отряд.

Мне дали десять способов умереть — и, если считать честно, одиннадцать, потому что свой я привёз с собой в мешке вместе с двумя рубашками.

И вся моя работа здесь, до самого конца, какой бы он ни был, состояла ровно в одном: не дать им состояться.

Ни одному.

Глава 3. Мелкая нежить, крупный позор

Курята пришёл за мной в четверть седьмого утра и сказал:

— Открылось.

Я в тот момент надевал сапог. Я так и остался с сапогом.

— Где?

— В двух верстах. По низине, к осокам, где старая гать. — Он поскрёб щёку. — Ты сапог-то надень, десятник. Оно не убежит.

Я надел сапог.

Потом я целую минуту ждал, что будет дальше, — потому что всю мою прежнюю жизнь дальше был колокол, было «в седло», было двенадцать человек в броне в проходе и писарь, бегущий с грамотой не в ту сторону. Здесь ничего не было. Курята стоял в дверях, придерживая створку, чтобы не хлопнула, и зевал в кулак.

— А тревогу? — спросил я.

— Какую тревогу?

— Не знаю. Какая у вас тут.

— У нас тут никакая, — сказал Курята. — У нас тут, десятник, если по каждой прорехе колотить в доску, доски не хватит, а спать вообще никто не будет. Ты к воеводе зайди, он тебе скажет.

Воевода мне сказал.

Он не вышел из горницы. Я постучал, он крикнул из-за двери «войди», и я вошёл, и он в этот момент сидел за тем же столом, под тем же дымом, с тем же обломком наконечника на бумагах, и переписывал что-то из одного листа в другой.

— Знаю, — сказал он, не поднимая головы. — Курята сказал.

— Что мне делать?

— Идти и закрыть.

Он дописал строку. Он не спросил, ходил ли я на прорехи раньше, знаю ли я, как их закрывают, есть ли у меня чем. Он даже не спросил, какая она — большая, малая, откуда лезет.

— Верес знает, что делать, — добавил он, дописав. — Ты его слушай в том, что по кромке, а в остальном не слушай. И к полудню чтоб вернулись, у нас сегодня хлеб делят.

Вот и всё, что было сказано о моём первом бое.

Я потом много думал об этой минуте и в конце концов понял, что воевода не был ни жесток, ни ленив. Он просто отправлял людей на работу. У него текла кровля, у него разошёлся частокол, у него открылась прореха в двух верстах по низине — и всё это стояло у него в одном списке, разлинованном на два столбца, и по всем трём пунктам он поступал одинаково: посылал тех, кто есть.

— Отваров нет, — сказал я.

— Нет.

— И железа.

— И железа.

— Тогда я возьму из оружейной всё, что есть.

— Бери, — сказал воевода. — Только копыя вернёшь. Копья мне считать перед Вышеградом.

Я вышел.

В оружейной было пятнадцать копий, три меча, шесть топоров, из которых два не имели рукоятей, и рогатина, про которую длинный с воспалёнными веками сказал, что она чужая. Одиннадцать человек. Я стоял в дверях, смотрел на всё это и делал в голове ту простую ариф-

метику, которую делает всякий, кому дали работу и не дали инструмента: если у меня одиннадцать человек и пятнадцать копий, то у меня всё равно одиннадцать человек.

А потом я вспомнил вчерашний вечер, и щель, и голос Петли, называющий мои ошибки по порядку и без крика.

И я сделал всё правильно.

Я до сих пор это помню с некоторой гордостью, и гордость эта смешная, но она есть. Я собрал их у оружейной, и я не сказал «идём на прореху, разберёмся». Я сказал иначе.

— Ствол, — сказал я. — Ты старший после меня. Если меня нет — моё слово передаёшь ты, теми же словами, без своих.

Ствол посмотрел на меня.

Он посмотрел — впервые за сутки, — и это заняло примерно полтора вдоха, и потом он сказал:

— Понял.

— Идём парами. Ствол — со мной. Петля — с Жаркой, левое крыло. Зима с Щуром — впереди на двести шагов, глядите и слушайте, в драку не входите, вернётесь и скажете. Верес — при мне, ты у нас в этом деле грамотный, и когда встанем — пойдёшь чертить, а прикрывать тебя буду я лично. Блажь — при Вересе, ты его не бросай, и, ради Правы, молчи, пока он чертит.

— А если он неправильно чертит? — спросил Блажь с интересом.

— Тем более молчи.

— Хорошо, — сказал Блажь. — Я буду молчать красиво.

— Молчан, — сказал я. — Второй линией. Гнёт с тобой.

И вот тут началось то, что я предвидел ещё ночью и всё равно не сумел объехать.

— Нет, — сказал Гнёт.

— Что «нет»?

— Я в первую пойду.

— Ты пойдёшь во вторую.

Он стоял передо мной, длинный, нескладный, с рукой на перевязи от плеча — не от раны, а потому что вчера потянул, таская вязанки втрое, — и в лице у него было то самое, из-за чего с семнадцатилетними невозможно разговаривать: он не спорил со мной, он спорил со всем миром, а я просто оказался тем, кто стоит ближе.

— Потому что мальчишка, — сказал он.

— Потому что вторая линия — это то место, куда прорвётся, — сказал я. — В первой стоят и держат. Во второй бьют то, что прошло. Если ты думаешь, что вторая линия — это где безопасно, то ты не был во второй линии.

Он мне не поверил.

Он мне не поверил ни на одно слово, и я это увидел, и я мог тогда добавить ещё три или четыре фразы, и, может быть, одна из них попала бы. Но за спиной у меня стоял десяток и ждал, а время шло, и я сделал то, что делают все командиры, когда времени нет: я сказал последнее слово и пошёл.

— Во вторую, — сказал я. — К Молчану.

Молчан наклонил голову. Он к этому времени уже держал в руках свой топор — тот самый, с укороченной, обрезанной рукоятью, обмотанной кожей, — и на этом топоре он и провёл всю мою речь, поворачивая лезвие к свету и глядя, как ложится жир.

Кряж вышел из своей клетки сам.

Он вышел, когда все уже стояли, — на четвёртые сутки, серый, с руками, которые всё ещё лоснились от натянутой кожи, — прошёл через двор медленно и ровно, как ходит человек, несущий полное ведро, и встал в конец. Он не спросил разрешения. Он не сказал мне ни слова. Он взял из козел копьё, попробовал его на весу, поставил обратно и взял другое.

— Кряж, — сказал я.

— Молчи, десятник.

Мы посмотрели друг на друга.

Я должен был отправить его назад. Я это знал так же ясно, как знал, что дважды подряд ему нельзя, что толку от него сегодня будет как от бревна и что бревно на прорехе — это лишний человек, за которым надо смотреть. Всё это я знал, и рот у меня был уже открыт.

А потом я вспомнил тёплую вонючую темноту и его голос в потолок: у нас тут у каждого своё, больше ничего не осталось.

И я закрыл рот.

Я до сих не знаю, правильно ли я поступил. Через двадцать дней это оказалось важно, а тогда я просто промолчал.

— Идём, — сказал я.

Петля шёл третьим и всю первую версту молчал, а потом сказал негромко, в сторону:

— Приказ был хороший.

Мне надо было ответить «спасибо».

Вчера мне сказали, что я сделал девять ошибок. Это было плохо, но понятно: не знал, научусь. Сегодня мне сказали, что я сделал всё правильно, и я понял: «правильно» не значит «сработает». Можно правильно отдать приказ людям, которые не отряд. Они сделают из него девять разных вещей. Приказ — слова, а отряд — привычка.

Я не знал этого до полудня. К полудню я это знал очень хорошо.

Две версты по низине — это час, если по гати, и полтора, если гать провалилась.

Гать провалилась.

Шли не строим, потому что строим по осоке не ходят, а вереницей, и вереница эта, надо сказать, к бою располагала мало.

Верес шёл и объяснял.

— Ты пойми, — говорил он мне в спину, — она же не «открылась». Так не бывает, чтобы открылась. Это как сказать, что рубаха «протёрлась» — она протиралась год, а ты заметил вчера. Кромка держит по низине хуже всего, потому что вода. Вода — она не Явь и не Навь, она никакая, и по ней всё ходит. Вот почему я тебе вчера про две жерди говорил, а ты...

— Верес.

— Я к тому, что если бы у нас было чем окапывать низину, у нас бы за год прорех было три, а не девять. Это же считается. Это простая вещь, её любой волхв посчитает, только никто не считает, потому что если посчитать, то придётся признать, что на девять прорех кто-то не дал двух жердей.

Он говорил это невинно.

Он говорил это совершенно невинно, идя по колено в мокром мху, и я в тот день не придал этому никакого значения, а зря. Я потом, зимой, вспоминал эту его фразу и удивлялся, до чего рано он всё сказал и до чего никому не было нужно.

Гнёт слушал его внимательнее всех.

Из всей лекции он вынес одно и на первом же привале мне это выдал:

— Значит, если вода никакая, то по воде и уйти можно.

— Куда уйти?

— Туда, — сказал Гнёт и мотнул головой в сторону осок. — Если по воде всё ходит.

— Верес, — позвал я. — Скажи ему.

— Что сказать?

— Что по воде всё ходит в обе стороны, и та сторона ходит лучше.

— А, — сказал Верес. — Ну да. Он с той стороны придёт быстрее, чем ты туда дойдёшь. Ты вообще не дойдёшь, ты в трёх шагах утонешь, тут дно с ямами.

Гнёт замолчал и до самого места больше ничего не спросил, и я счёл это победой. Мне следовало счесть это иначе. Семнадцатилетние не замолкают потому, что их убедили. Они замолкают потому, что решили проверить сами.

Щур несёт меньше всех.

Я это заметил на первой полуверсте: у него было одно копьё, короткий нож на поясе и всё. Ни топора, ни второго древка, ни мотка верёвки, который тащили остальные.

— Щур.

— Что?

— Ты пустой.

— Я лёгкий, — сказал он. — Ты подумай сам, десятник. Вас там будет девять человек с железом в куче, а я буду там, где вас нет. Что мне носить? Если я с топором пойду, я буду человек с топором, и меня видно. А если без — я никто, и меня не видно, и вот от этого вам польза.

— От тебя польза, если ты этот топор кому-нибудь подашь.

Щур подумал.

— Ну, подам, — согласился он. — Если он у меня будет. — И добавил ещё тише, куда-то в осоку, но так, чтобы дошло: — Только я его вам потом в счёт поставлю.

Блажь на подходе к последнему повороту остановился, снял шапку и поздоровался с болотом.

Он сделал это обстоятельно. Он сказал: «здравствуй», подождал, вежливо кивнул, надел шапку обратно и пошёл дальше.

— Ты с кем? — спросила Жарка.

— С тем, кто здесь живёт.

— Тут никто не живёт.

— Тут все живут, — сказал Блажь. — Просто они по большей части мокрые, и им обидно.

Жарка выругалась и пошла вперёд, и я видел, что она невольно посмотрела туда, куда Блажь снимал шапку.

Зима с Щуром вернулись, когда до места оставалось полверсты.

Она подошла ко мне, и стояла ближе, чем обычно, и это было первое, что мне не понравилось. Второе, что мне не понравилось, — она смотрела не на меня, а мимо, себе под ноги, и лицо у неё было такое, будто она к чему-то принюхивается и не может понять к чему.

— Ну? — сказал я.

— Много, — сказала Зима.

— Сколько?

Она подумала. Она честно попыталась это перевести на человеческий счёт, и я видел, как ей это неудобно, — так неудобно, как нам было бы переводить запах в вершки.

— Много, — сказала она опять. — Мелкое. Много мелкого.

— Как много? Двадцать? Сорок?

— Как вода, — сказала Зима.

И пошла на своё место.

Мы двинулись, и я всё ждал, когда я увижу прореху, потому что мне казалось, что это должно быть видно.

Первым я не увидел. Первым я услышал — вернее, не услышал.

Я шёл, и на низине стоял обычный осенний шум: чавканье под одиннадцатью парами сапог, скрип древков, кашель Кряжа, голос Вереса. И в какой-то момент из этого шума ушёл край.

Я не сразу понял, что случилось. Я споткнулся на кочке, копьё стукнуло о копьё Ствола — и звук вышел из этого стука и никуда не пошёл. Он не отдался ни от кромки леса, ни от осоки. Он просто кончился на месте, как кончается стук, если стучать в тюке шерсти.

Потом я посмотрел на воду.

В следах, которые мы оставляли, набиралась вода — обыкновенная, бурая, болотная. И в этой воде не было неба.

Не потому, что оно было серое и отражать было нечего. Мокрый мох рядом блестел, лужа на кочке блестела, а вот та вода, в трёхстах шагах отсюда и ближе, стояла тускло и глухо, и в неё можно было смотреть, как в тряпку.

А мошка стояла в воздухе.

Её было столько же, сколько всегда бывает над низиной поздней осенью, — редкий, невидимый в движении столб, который замечаешь, только когда идёшь сквозь. Я шёл сквозь. Она не разлеталась. Она висела там, где висела, и я прошёл через неё, и она не сдвинулась, и я потом с полминуты чувствовал её на лице.

— Пришли, — сказал Верес.

Голос у него стал деловой, и это было хуже всего.

— Всем стоять, — сказал я. — Ствол, повтори моё слово.

— Всем стоять, — сказал Ствол.

И одиннадцать человек встали.

Первый раз за двое суток — все сразу, все одиннадцать, с одного слова.

Я тогда решил, что дело пошло.

* * *

Прореха выглядела как ничто.

Я ждал воронки. Я ждал провала, свечения, чёрной дыры в воздухе — того, о чём поют слепцы на торгу и что рисуют по краям в книгах для княжеских детей. Я потом узнал, что так и правда бывает, но раз в двадцать лет и не на болоте.

Здесь была кочка.

Обыкновенная кочка, вершка в полтора над водой, с пожухлой осокой по краю, и в этой осоке — прогалина шага в три. И в прогалине ничего не было: ни воды, ни мха, ни земли. Не чёрное — просто место, на котором глаз не останавливался. Я смотрел прямо туда и всё время обнаруживал, что смотрю чуть в сторону, и приходилось возвращать себя обратно, как возвращаешь взгляд к строке, которую перечитываешь третий раз и не помнишь.

Так и прохудится сапог. Не рвётся с треском — просто в одно утро оказывается, что там, где была подошва, ничего нет.

— Кромка держит, — сказал Верес.

Он присел у самого края, положил ладонь на мох в двух ладонях от прогалины и подержал.

— Держит, — повторил он. — По той стороне идёт нажим, но края целые. Это хорошо, десятник. Это значит, что оно закроется, если её обвести.

— Долго?

— Обвести? Одинарным Коло — как получится. — Он полез за пазуху, вынул кожаный сверток, развернул на колене. Внутри лежали три палочки, обугленные с конца. — Считай на пятнадцать вдохов. Если меня не толкнут.

— Тебя не толкнут.

Меня стоит послушать в этом месте внимательно. Я сказал: тебя не толкнут. Я сказал это своим командирским голосом, с полной уверенностью, глядя человеку в лицо, и через четверть часа его толкнули дважды.

Первые вышли, пока Верес разворачивал свой свёрток.

Их было три. Они вышли из прогалины не как выходят из двери, а как выходит вода из-под половицы: сперва одна показалась, потом её стало две, потом третья была уже в шаге от края, хотя никто не видел, чтобы она шла.

Я их разглядел хорошо. Я потом сотни раз их видел и никогда больше не разглядывал так подробно, потому что времени не было.

Ростом по колено. Некоторые по пояс. Тело — как у мальчишки лет пяти, если мальчишку намочить и продержать в подполе месяц: серое, с обвисшей кожей, покрытое чем-то вроде шерсти, а вроде и не шерсти, а того, что налипает на мокрое. Руки длинные, до земли, и на руках слишком много пальцев — я насчитал шесть и решил, что обсчитался, а потом насчитал шесть на другой.

Лица не было. Была морда, и в морде было слишком много рта.

И они молчали.

Вот этого я не ждал совсем. Я двенадцать лет привык, что всё, что на тебя идёт, — орёт, ревёт, хрипит, лает, что-то с собой делает. Эти шли молча и в полной деловитости, как идёт мышь по своей мышиной надобности, и от этого на затылке поднималось волосом сильнее, чем от любого рёва.

Ствол убил первую.

Он не спрашивал. Он поднял лук — с тем движением, в котором нет ни одного лишнего вершка, — и стрела ушла, и шишига села в воду, будто у неё разом отняли кости.

Сорок шагов. Он уже отворачивался, когда она села.

Вторую взял Петля. Он сделал два шага, наклонился и ударил коротко, снизу, ножом под то место, где у неё была бы шея, будь у неё шея. Он сделал это, как чистят рыбу.

Третью убил я. Копьём, сверху, в спину, вдавив в воду, и она под наконечником была мягкая, и это оказалось самое мерзкое во всём том дне.

Я хочу, чтобы это было понятно. Не страшное — мерзкое. Она поддалась. Она поддалась так, как поддаётся мокрое тряпье, если ткнуть в него палкой, и наконечник прошёл сквозь без стука, без хруста, без сопротивления, и я стоял и держал в руках древко с чем-то мягким на конце, и оно ещё шевелилось.

— Всё? — спросила Жарка.

Она сказала это со смехом. Не со злым — с облегчением человека, который приготовился к худшему.

— Это шишиги-то? — сказала она. — Их же палкой можно.

— Можно, — сказал Петля.

— И вот от этого всё княжество трясётся?

— Княжество трясётся не от этого, — сказал Петля.

И вот эта минута — минута между третьей убитой и тем, что пошло дальше, — была самой опасной минутой того боя. Не когда нас накрыло. Тогда уже было поздно бояться, тогда была работа. А вот здесь, когда Гнёт засмеялся во второй линии, когда Щур сказал что-то ехидное про то, что он и говорил, а Верес деловито провёл первую черту, — вот здесь мы проиграли этот бой.

Потому что все одиннадцать человек в этот момент решили, что уже знают, что будет.

Их стало много не сразу.

Сначала стало четыре — и их разобрали спокойно. Потом семь, и семь тоже разобрали, но уже с суетой, потому что двое пошли в обход по воде. Потом я поднял глаза от копья и увидел, что прогалина не отдаёт по одной.

Она текла.

Другого слова у меня нет. Их выносило оттуда непрерывно, ровным током, и они не собирались в кучу, а расходились по низине, как расходится по столу опрокинутая вода: находя ложбинки, обтекая кочки, отыскивая, где ниже.

Ниже были мы.

— Первая линия — сомкнуться! — крикнул я. — Держать кромку! Не пускать за спину! Это был правильный приказ.

Я тогда уже начал понимать, что дело не в приказах, но понимание это шло медленнее, чем шишиги.

Дальше я расскажу по порядку, но по порядку этого не было. Я потом полночи выкладывал этот бой в голове, как выкладывают черепки, и до сих не уверен, что в какой последовательности случилось.

Копья негодились.

Это выяснилось на первой минуте. Копьё — вещь для того, что идёт на тебя ростом с тебя. Ты держишь дистанцию, ты бьёшь в грудь и в живот, ты упираешь пятку в землю. А эти шли под ноги. Они шли ниже наконечника, они были у самых сапог, и я бил вниз, почти себе под ступню, и наконечник вязнул в мокрой земле, и надо было выдирать древко, а пока ты его выдираешь, тебе на голенище влезло двое.

Они цеплялись.

Не кусали сразу — цеплялись. Хватались всеми своими шестью пальцами за кожу голенища, за ремень, за подол, и подтягивались, и от этого тянуло вниз. Одна повисла у меня на левой ноге, и я почувствовал вес — небольшой, как ведро воды, — и это было отвратительнее любой раны, потому что я сразу и очень ясно понял, что будет, если их повиснет пять.

Топоры вязли. Мечей было три. Тот, кто рубил, попадал в воду. Тот, кто бил вниз, попадал в свою же ногу — Жарка распахала себе голенище на второй минуте и потом весь вечер ходила и показывала: это я сама.

И мы мешали друг другу.

Вот этого я никогда потом не забывал. Одиннадцать человек — не так много, но одиннадцать человек, которые не знают, кто из них шагает влево, — это очень много. Кряж стоял справа от меня и держал участок в четыре шага, и я дважды за первые минуты чуть не рубанул его по руке, потому что он не двигался, а я привык, что рядом двигаются. Ствол сзади бил на просвет между людьми, и просветы эти появлялись и закрывались, и я слышал, как он трижды не выстрелил.

А Верес чертил.

Он чертил, сидя на корточках у самой кромки, и то, что он делал, было единственной осмысленной работой на всей этой низине. Я стоял над ним, как обещал, и рубил всё, что подходило на два шага, и одним глазом видел, как из-под его обугленной палочки выходит линия — не по земле, а как бы чуть над землёй, и мох под ней темнеет.

На восьмом вздохе его сбили.

Не шишига. Жарка.

Она отступила. Ей на левое плечо влезло сразу трое, она стряхивала их, и она отступила на два шага — так, как отступает всякий нормальный человек, — и прошла ровно через ту черту, которую Верес довёл до половины.

Линия погасла. Мох под ней посветлел обратно.

— Не через круг! — заорал Верес. — Я же говорил! Я же вслух говорил!

Он не говорил. Может, он и говорил, но говорил он это утром, по дороге, вперемишку с двумя жердями и природой воды, и никто из нас, включая меня, не запомнил, что именно нельзя делать, когда он сядет чертить.

Он начал заново.

Вот когда Жарка ударила.

Я не видел начала. Я видел свет — низкий, оранжевый, снизу, как от опрокинутого горна, — и услышал звук, который у неё выходит: не гул, а хлопок, как если тряхнуть большую мокрую тряпку.

Она ударила в кучу. Их сгрудилось шесть или семь у её ног, и она ударила по ним всполохом сверху вниз, обеими руками, и это было верное решение и хороший удар.

Всполох взял их всех, и ещё взял осоку в трёх шагах, и ещё взял Щура.

Щур в эту секунду проходил у неё за спиной. Он всегда проходил там, где никто не смотрит, — в этом состояло всё его ремесло, — и он прошёл через край её удара, и край задел ему левое предплечье и опалил древко копья, которое он держал.

Он не закричал.

Он сел в воду, сунул руку в мох по самый локоть и посидел так, покачиваясь, а потом сказал негромко и очень внятно:

— Рубаха.

Жарка стояла и смотрела на свои руки.

Я видел её лицо в этот момент, и я хотел бы этого не видеть. Ей было двадцать лет, у неё были обожжённые до глянца кисти и брови, отрастающие заново, и в лице у неё сейчас не было ни страха перед шишигами, ни боли, ни злости. В нём было узнавание. Она стояла и смотрела на свои руки, как смотрят на чужую вещь, которую нашли у себя в мешке.

Потом она села на кочку.

Просто села. Посреди боя, у себя за спиной оставив шесть шагов ничьего пространства, — села на кочку и опустила руки между колен, и вокруг неё сразу стало пусто и стало можно пройти.

— Жарка! — крикнул я. — Встать!

Она не встала. Не из бунта — она меня не слышала. Она вообще в эти десять или двенадцать вдохов не была человеком, который что-то слышит.

Дыру, которую она за собой открыла, закрыл Петля.

Он не бежал. Я потом об этом много думал: он ни разу за весь бой не побежал. Он сместился на четыре шага — и оказался там, где ему надо было быть, и это выглядело так, будто низина сама подвинулась под него.

Он работал экономно и страшно.

Он бил ножом, коротко, снизу, по одной, и на каждую тратил одно движение. Никакого размаха, никаких двух ударов в одну. Он даже наклонялся не всякий раз — иногда он просто ставил ногу так, что шишига оказывалась под голенищем, и наступал, и она под ним делала то, что делает мокрое тряпье под сапогом.

И один раз он выпустил холод.

Один раз за бой, коротко, на два вдоха. Я стоял в шести шагах и почувствовал это спиной раньше, чем понял, — как чувствуешь, что за тобой открыли дверь на улицу. Воздух со стороны его угла пошёл гуще, пар от моего дыхания встал столбом, и мокрый мох под ним седеет, и по этому седому пятну шагов в пять поперёк лежало восемь или девять шишиг, и они не были ранены. Они просто перестали.

Он сделал это и пошёл дальше своим шагом.

Он не спасал бой. Вот что я понял к третьей минуте, и вот что было самое горькое из всего в тот день: он держал свой угол — держал безупречно, — и не сделал ни на вершок больше. Он не крикнул мне, куда идти. Он не сказал Жарке подняться. Он не подсказал Ствола передвинуть, и не собрал первую линию, хотя ему на это надо было четыре слова.

Он вечером мне это объяснит, и объяснение будет такое, что возразить нечем.

А тогда я стоял по колено в мокром мху, отдирав от голенища то, что на нём висело, и понимал, что человек, который может закрыть этот бой в одиночку, дал мне провалиться, потому что решил, что мне это нужнее.

Зима не обратилась.

Я это заметил и, к своему стыду, успел об этом подумать плохо. Она работала ножом — коротким, широким, — и работала хорошо: она чувала их до того, как они появлялись, и оказывалась там раньше, и была точно. Но она осталась человеком, и на низине, где Ствол уже трижды не выстрелил, а Верес чертил во второй раз, это выглядело как экономия.

Гнёт крикнул ей что-то. Я не разобрал слов, но по голосу разобрал всё: он крикнул ей то, что кричат семнадцатилетние, когда им кажется, что кто-то не выкладывается.

Она даже не повернула головы.

Я узнал причину только через двадцать дней и на другой земле. Обернуться ей — пять вздохов. Обернуться назад — пятнадцать, и в эти пятнадцать она лежит на земле и не помнит, где у неё руки. На открытой низине, в текущей воде из мелкой Нави, обернуться означало отдать им себя на пятнадцать вздохов и получить взамен зверя, который в этой воде не может ни встать твёрдо, ни разогнаться.

Она посчитала это в первую секунду боя и приняла единственное верное решение, и приняла его молча, и за это её весь тот день считали трусливой — включая, на четверть вдоха, меня.

Молчан во второй линии работал так, будто у него всё в порядке.

У него одного всё и было в порядке. Он стоял чуть развернувшись, в трёх шагах от Гнёта, и бил своим коротким топором — тем самым, с обрезанной рукоятью, обмотанной кожей. Я тогда впервые понял, зачем он его обрезал. Длинной рукоятью по тому, что лезет под ноги, не поработаешь. Он это знал заранее, и он переделал под это железо, и он был единственным человеком на этой низине, у которого оружие подходило к работе.

Он не сделал ни одного лишнего движения и не издал ни одного звука. Он ни разу не посмотрел на прогалину. Он смотрел только на то пространство, которое ему дали, и в это пространство никто не прошёл.

Блажь хохотал.

Он начал на второй минуте и хохотал долго, взхлёб, всхлипывая, вытирая глаза, и в этом хохоте не было ни капли веселья, а была та самая механика, от которой у людей потом трясутся руки.

— Блажь!

— Ты посмотри! — кричал он. — Ты посмотри на них! Они же в амбар лезут! Они не воевать пришли, они в амбар лезут, а мы стоим и думаем, что мы крепость!

От этого хохота стало хуже всем. Кряж рывкнул на него, Жарка вздрогнула на своей кочке, Верес сбился на третьей черте и зашипел. Шишигам было всё равно. Им единственным было всё равно.

И где-то в этом хохоте, между третьей и четвёртой минутой, Верес начал чертить в третий раз, и его толкнули опять — теперь я сам, отступая от той, что повисла у меня на поясе.

А потом слева от меня, во второй линии, Гнёт пошёл вперёд.

Я объясню, как это выглядело, потому что выглядело это хорошо.

Он вышел из своих трёх шагов и пошёл на прогалину. Не побежал — пошёл, широко, с копьём наперевес, вниз, в самую густоту, туда, где их текло плотнее всего. И он бил хорошо. Я это говорю без всякой скидки на возраст: у него был правильный удар, короткий, снизу, и он положил пять или шесть за десяток вздохов, и он шёл, и вокруг него становилось чище.

Он шёл доказывать, что зря его поставили во вторую.

И он был силен. Петля не соврал: мальчишка был сильнее, чем я думал. Он был много слабее, чем думал сам, — и вся разница между этими двумя вещами уложилась в четыре шага.

На четвёртом шаге он наступил в яму.

Тут всё дно с ямами. Ему об этом сказали утром, на привале, и сказал ему это Верес, и он это слышал.

Он ушёл по бедро, и его повело, и он взмахнул руками — теми самыми, которые ему были ещё велики, — и упал на правое плечо в воду.

И вот я хочу сказать самое главное про тот бой.

Я развернулся к нему до того, как он крикнул.

Я это помню отчётливо, и я это помню именно так, потому что оно у меня зацепилось за тело: я стоял правым боком к прогалине, отдирая с пояса шишигу, и ещё до того, как за спиной у меня чавкнула вода, я уже переносил вес на левую ногу и разворачивал плечи влево.

К той самой яме.

Я знал, что он упадёт. Я знал, где именно.

Крик пришёл потом — и уже мне в разворот. Тонкий, мальчишеский, оборвавшийся на середине.

Потому что их накрыло его сразу и целиком.

Он упал, и их стянуло к нему со всей низины, как стягивает воду в ложбину, и они полезли — на грудь, на голову, на лицо, — и через два вдоха на том месте, где лежал семнадцатилетний мальчишка, было просто шевелящееся серое, и никакого мальчишки не было видно.

Совсем.

* * *

Есть вещи, которые тело решает раньше головы, и это — единственное, за что я до сих пор благодарен тому, кем я был.

Я не считал. Я не выбирал. Я не подумал ни про четыре минуты, ни про то, что будет после, ни про то, что до мальчишки восемь шагов по воде с ямами.

Я вдохнул и поставил Доспех.

Снаружи это, говорят, выглядит скучно.

Ни света, ни грома, ни того, что рисуют по краям в книгах для княжеских детей. Мне потом рассказывали — разные люди, в разное время, и все рассказывали одно и то же, три вещи.

Первая: мокрое на тебе перестает быть мокрым.

У меня в тот вздох рукав был по локоть в болотной жиже, и он высох. Не испарился с паром, как сохнет над огнём, — просто перестал быть мокрым, и ткань встала колом, и потом, когда всё кончилось, я её разгибал руками, как разгибают вымороженную. Снег, который шёл в то утро редкий и косой, до меня не доходил вовсе. Он исчезал в полувершке от кожи. Без пара, без шипения: был — и нет.

Вторая: дыхание не парит.

Утро стояло холодное, у всех изо рта шло облаком, а у меня ничего. Просто открывается рот, и ничего из него не идёт.

И третья — звук.

Он низкий и ровный, и он не снаружи, а как бы вокруг, и сам ты его не слышишь, потому что он у тебя внутри крови. Его слышат другие, шагов с двух. Жарка в ту минуту сидела на своей кочке и не слышала ни меня, ни Вереса, ни себя, — а потом, как она сказала мне много позже и совсем по другому поводу, стало гудеть.

И она подняла голову.

Как это делается, объяснить нельзя, и я не буду пробовать. Скажу только про ощущение, потому что ощущение у него одно и то же с двенадцати лет и до последнего дня.

Уходит вес.

Не так, что ты становишься легче. Наоборот: тебя становится больше — но то, что мешало, отваливается. У меня в теле в тот момент было четверо суток дороги, год ямы, полторы версты по мокрому мху и правое бедро, которое я не чувствовал с прошлой осени. И всё это перестало иметь ко мне отношение, как перестает иметь отношение снятый мокрый плащ.

Мир стал медленный и подробный.

Я вижу это до сих пор. Восемь шагов, и я знаю каждый: вот кочка, она держит; вот тёмное — там яма, обойти слева; вот эта повисла на голенище, и её можно не снимать, она не мешает. Я не бежал по низине. Я шёл по ней так, как ходят по своему двору в темноте.

И удары приходили снаружи.

Их было много. По мне в те двадцать вздохов било, наверное, штук пятнадцать сразу — они цеплялись, лезли на спину, вгрызались в наколенник, — и всё это доходило до меня так, как доходит стук в дверь до человека, который сидит у печи. Кто-то стучит. Ты слышишь. Ты знаешь, что дверь крепкая.

Я взял двоих с него руками.

Просто взял и отбросил, и они полетели дальше, чем следовало, — я потом видел, куда, шагов на десять, — и от этого во мне поднялось то, чего я год не чувствовал.

Радость.

Скажу как есть: мне было хорошо. Мальчишка лежал под шевелящимся серым, вода вокруг была бурая от того, что из него шло, а мне было хорошо, потому что я на двадцать вздохов снова стал тем, кем был двенадцать лет.

Я эту радость потом стыдил в себе долго и до конца не выстыдил.

Я разгребал их с него, как разгребают снег. Они не отступали. Я хочу, чтобы это было понятно: они не боялись меня ни на волос. Я отдирали их от него, отбрасывал, и они возвращались, и меня это тогда даже не раздражало — на это просто уходили руки.

Гнёта я нашёл по колену.

Он был весь под ними, он не двигался, и я в те два вздоха, пока разгребал, успел решить, что мальчишка мёртв, и успел придумать, что скажу воеводе.

Потом он закричал.

Он закричал, когда я потянул его за плечо, и это был хороший крик. Это был крик человека, у которого что-то сломано, а сломанное болит только у живых.

Я поднял его.

Он висел у меня на левой руке, как висит подросток — весь из локтей и колен, — и я видел его лицо. Оно всё было в мелких круглых укусах: щёки, лоб, шея, и один на нижней губе. Ни одной большой раны. Просто много маленького, и всё в крови, и от этого он выглядел так, будто его валяли в чём-то.

Правая ключица стояла неправильно.

Она стояла бугром под кожей — не пробила, но стояла, — и рука ниже висела как чужая.

Я вынес его на кочку, туда, где было выше и суше, и положил, и он всё это время кричал, и я потом много раз думал, что этот крик был лучшим звуком того дня.

— Молчан! — заорал я. — Ко мне!

Молчан пришёл.

А потом Доспех начал садиться.

Про это надо сказать точно, потому что здесь у меня в тот день кончилась одна жизнь и началась другая.

Он не рвётся. Он не бьёт по тебе изнутри, не гаснет со вспышкой, ничего такого. Он именно садится — как садится свеча в сквозняке: сперва пламя становится ниже, потом синим, потом длинным и слабым, и всё это время ещё светит, а потом уже нет.

Сначала пропала лёгкость.

Вернулось бедро. Оно вернулось первым — тупой узел выше колена, я его почувствовал как чужую руку, положенную на ногу. Потом вернулись четверо суток в телеге.

Потом ушёл слух.

Он не исчез — он ушёл под воду. Крик Гнёта стал далёким. Верес что-то орал в четвёртый раз про свой круг, и я слышал, что он орёт, но не разбирал слов. Хохот Блажи доходил как через стену.

А потом ушли ноги.

Я стоял на кочке, над мальчишкой, посреди текущей низины, и у меня ниже пояса не стало ничего — не боли, не слабости, а именно ничего, как будто мне сообщили, что ноги теперь в другом месте.

Я устоял. Я не упал в тот день ни разу, и это единственное, чем я в том бою могу похвалиться.

И вот тут я сделал то, чего с той весны не делал.

Я потянулся ещё.

Не за новым Доспехом — за добавкой. Так тянутся к кружке, из которой только что выпили, потому что рука ещё помнит, что там было.

И я её достал.

Я хочу, чтобы это было понято, потому что мне это объясняли только один раз и объяснял человек, которому было всё равно, понял я или нет.

Она была там.

Вся. Подо мной, за досками, в двух пальцах и в двадцати верстах разом: та Ярь, с которой я год назад входил в такую низину один и выходил из неё через десять минут, вытирая руки. Она не убыла. Она не устала. Ей было всё равно, что я стою тут пустой, а в четырёх шагах немой мужик делает мою работу.

Я упёрся в неё изнутри и почувствовал щель.

Отмеренную. Ровно ту, через которую мне отпустили четыре минуты, — и ни на вздох больше, потому что вздох больше отмерял не я.

Так стоят у двери, за которой лежит твоё, и ключа у тебя нет, и дверь не заперта на замок, а просто заговорена одним человеком, который сказал слово и уехал.

Я упирался, наверное, три вдоха. Потом перестал, потому что от этого шла кровь из носа и никакого другого прибытка.

Я стоял пустой.

Есть такая вещь: мех для воды, из которого выпили. Он не рваный, он целый, он свою форму помнит, у него шея как была, — но когда его берут в руки, он ничего не весит, и внутри у него склеенные стенки.

Только мех хоть пустой. А я был полный.

Вот в чём разница, и вот с чем мне теперь надо было жить.

И на мне была соль.

Это последнее, что видно снаружи, и видно её не в бою, а после. Всё, что за эти четыре минуты из тебя вышло, выходит разом и тут же сохнет — Ярь мокрого не держит, — и остаётся то, что в поту было.

Белая кромка по вороту, в два пальца. Белое в углах глаз и вдоль брови. Губы у меня в тот день треснули вдоль, посередине, и трещина эта потом открывалась до зимы всякий раз, как я улыбался, — улыбался я редко, так что зажила она только к зиме.

И язык как мел.

После Доспеха пить нельзя сколько хочешь. Можно сколько влезет, а влезает мало. Я в тот вечер выпил три ковша, и мне всю ночь было мало, и я вставал ещё дважды.

Руки не поднимались. Не «болели» и не «дрожали» — я приказывал правой поднять копье, которое стояло рядом, воткнутое, и правая слушалась, и поднимала до высоты пояса, и на этом её знание обо мне заканчивалось.

И тогда меня добило.

Не шишиги. Шишиги в эту минуту как раз откатились от кочки — их отогнал Молчан, работая коротким топором в четырёх шагах, — и на меня в тот момент не лез никто.

Меня добила простая арифметика.

Мне отпустили всё, что мне отпускают в сутки, и я это истратил. До донышка, до склеенных стенок, — и я купил этим одну вещь: семнадцатилетнему мальчишке ключицу вместо смерти.

Всё.

Больше я не купил ничего. Прореха текла. Первая линия стояла порознь. Жарка сидела на своей кочке. Щур сидел в воде с рукой в мху. Верес чертил в четвёртый раз, и никто не гарантировал, что его не толкнут в пятый. Ствол по-прежнему не мог стрелять, потому что мы все стояли не там. Кряж держал четыре шага справа, серый, и держал их только потому, что не двигался.

Год назад мне на всю эту низину хватило бы того, что я тратил на утреннюю разминку.

Сегодня я вынес одного и стал бесполезен.

Молчан стал передо мной.

Он не спросил. Он посмотрел на меня — один раз, коротко, тем своим взглядом, которым он смотрел на разошедшиеся брёвна и на дурно уложенный хворост, — и сместился на полшага, и оказался между мной и низиной.

И тут я заметил, куда он смотрел.

Не в лицо. На воротник.

Он посмотрел на белую кромку у меня по вороту — коротко, как смотрят на зарубку на мерной палке, — и что-то у него в лице сложилось и закрылось.

Я тогда не понял. Я решил, что у меня там кровь.

Он считал.

И стал работать оттуда.

Он ничего не сказал. Он не мог, а если бы мог — не сказал бы. Он просто закрыл меня собой, как закрывают от ветра свечу, и стоял так, я думаю, минуты три, и за эти три минуты в меня не прошло ни одной.

Я стоял у него за спиной.

Мне двадцать четыре года. Я был Богатырём в двадцать один — младшим за сорок лет. Я водил три сотни на Прибрежье, и меня выносили с той сечи на щитах, и я вернулся туда через год сам.

И я стоял за спиной у немого кузнеца, который не может ковать, и смотрел, как он вместо меня держит участок.

Тогда я об этом не думал. Тогда я думал только про то, что мне холодно и что мальчишка дышит.

А думать я стал позже — и до сих пор думаю.

Потому что у него было то же самое.

Руки знают. Глаза знают. Он берёт железо, и по тому, как он его берёт, видно всё, чем он был. И он не может сделать того, что умеет, и никто на заставе не может объяснить, почему.

Мы с ним в тот день стояли друг за другом на одной кочке, оба полные, оба закрытые, и оба про это молчали — он потому, что не мог, а я потому, что ещё не понимал, чему тут есть название.

К концу я всё-таки ударил.

Одна прошла у Молчана слева, обошла его по воде — они умеют обходить, они находят, где ниже, — и пошла на кочку, на Гнёта, который лежал и уже не кричал, а только дышал часто и мелко.

Я не успевал ни ногой, ни копьём.

И я сделал то, чего не делал с выпускного поединка: я собрал то небольшое, что во мне ещё оседало по стенкам, всё, до последнего, в одну правую руку — и ударил сверху вниз, кулаком, без всякого приёма, как бьёт мужик по столу.

Тяжёлая рука.

У неё звук глухой и короткий, будто мешок уронили с телеги.

Её вбило в мох по самые плечи, и всё, что в ней было, вышло в стороны, и на моём кулаке и до локтя стало то, чего я потом не мог отмыть до вечера.

А потом я сел в воду.

Не упал — сел, довольно аккуратно, рядом с мальчишкой, и вода зашла мне за пояс, и я подумал, что она тёплая, хотя она была ледяная.

Она и была для меня тёплая. Это тоже от Доспеха: своего холода первые полчаса не чувствуешь, чувствуешь только чужое тепло, и от этого люди после Доспеха садятся в снег и сидят, и их надо поднимать.

Молчан стоял передо мной и работал.

Гнёт лежал слева и дышал.

Верес орал справа, что он чертит в четвёртый раз и что если его толкнут сейчас, то он больше не станет, и пусть тогда сюда приезжает из Вышеграда тот, кто не даёт двух жердей.

Где-то сзади хохотал Блажь.

Я сидел в холодной воде на болоте в двух верстах от штрафной заставы, куда меня привезли доживать, — и первый раз с того дня, как надо мной прочли грамоту, я заплакал.

Тихо. Не от жалости к себе.

И слёзы шли солёные так, что щипало, — потому что во мне к тому часу не осталось ничего, кроме соли.

От того, что четыре минуты — это очень мало, а у меня внутри лежит полчаса, и достать я их не могу, потому что один человек в Вышеграде однажды сказал про меня слово и не собирается его брать назад.

* * *

Бой кончился сам.

Я хочу, чтобы это было записано именно так, потому что потом об этом говорили иначе — в казарме к вечеру уже рассказывали, как десятник в Доспехе разметал их всех, и я не стал поправлять, и это была первая ложь, которой я на этой заставе не помешал.

А кончилось так.

Они перестали идти.

Не отступили, не побежали, не рассыпались — просто ток из прогалины стал реже, потом совсем редкий, потом оттуда вышла последняя, вышла как-то криво, боком, и её убил Ствол, потому что мы к тому времени наконец стояли так, что он мог стрелять.

Я сидел в воде и смотрел на прогалину.

Она стягивалась. Медленно, как стягивается зрачок на свету: место, на котором глаз не останавливался, становилось меньше, и по краям в него уже входила осока.

Верес чертил в четвёртый раз.

Он дочертил. Никто его не толкнул — толкать было некому, все стояли и смотрели, как он работает, и это были единственные пятнадцать вздохов за весь день, когда одиннадцать человек делали одну вещь.

Коло легло.

Оно легло красиво. Я в этом не разбираюсь, но красоту видно и без понимания: линия сошлась сама с собой, и мох по всему кругу потемнел разом, и в воздухе над ним прошло то, что проходит над горячим камнем.

И оно легло на пустое место.

К тому времени от прогалины оставалось ладони две.

— Ну? — сказал я.

Верес сидел на корточках, держа обугленную палочку, и смотрел в свой круг, и лицо у него было недовольное — не усталое, а именно недовольное, как у человека, которому испортили счёт.

— Закрыто, — сказал он.

— Ты закрыл?

Он помолчал.

Я это в нём потом полюбил больше всего, а тогда мне это стоило половины ночи.

— Не знаю, — сказал Верес.

— Как не знаешь?

— Так, что не знаю, — сказал он с досадой. — Если бы меня не сбили в первый раз, я бы знал: я закрыл. И если бы во второй не сбили — тоже знал. А сейчас — она затягивалась сама, и я обвёл её тогда, когда она уже почти. И я тебе сейчас доложу, что закрыл, и воевода запишет, и в Вышеград уйдёт бумага, что здесь работал волхв. — Он поднялся, отряхнул колени. — А правда, десятник, в том, что я четыре раза начинал и, может быть, вообще ни при чём.

Он посмотрел на меня.

— И это плохо, — добавил он. — Потому что если она сама затянулась, то она сама и разойдётся. И тогда мы будем спокойно жить и думать, что тут закрыто.

Я тогда не понял, о чём он.

Потом понял, но потом было в конце зимы.

Пересчёт я делал сам, сидя, потому что стоять ещё не мог.

Одиннадцать живых. Я пересчитал трижды и на третий раз досчитал до одиннадцати без запинки, и это было самое приятное ощущение за весь тот день, лучше даже Доспеха.

Двое раненых.

Гнёт: ключица, десятка три укусов, из которых половина на лице. Он лежал на кочке и уже пришёл в себя настолько, что начал огрызаться, а это, я потом понял, у него признак жизни, как у иных пульс.

Щур: левое предплечье, ожог по внешней стороне от локтя до кисти, кожа лоскутом. Не от Нави. От своих.

Копий было пятнадцать. Стало одиннадцать: два сломали, одно утопили, одно опалило так, что древко расщепилось. Топор — один утопили. Про рогатину, которая чужая, никто не вспомнил, и она осталась на низине, и я потом за неё отвечал.

А потом Ствол подошёл ко мне, ничего не сказал и показал глазами себе под ноги.

Я встал — уже мог — и посмотрел.

Там, где я стоял в Доспехе, на кочке над ямой, лежал круг.

Не выжженный. Ничего не горело. Просто шагов пять поперёк болотного мха — сухого. Мох на низине в конце осени мокрый весь, до последнего волоска, он под сапогом чавкает и держит воду, как тряпка. А тут он был коричневым, лёгкий и сухой, и когда я тронул его носком, он хрустнул.

И вода из него ушла. Вокруг во всех наших следах стояла бурая жижа, а в этом круге следы были пустые — как ямки в пыли.

— У тебя всегда так? — спросил Верес с живейшим интересом.

— Не знаю, — сказал я. — Я раньше не смотрел.

И это была правда. Двенадцать лет я вставал в Доспех и уходил, и что оставалось за мной на земле, меня не касалось ни разу — за мной шли другие люди, и у них была другая работа.

Мох этот, кстати, к весне не поднялся. Я потом нарочно ходил смотреть — в мае, когда всё зелёное. Круг стоял бурым. Он стоял бурым до следующей осени, и волколака мы валили в сорока шагах от него, и я, лёжа на спине с перебитой поперёк спиной, видел его краем глаза и точно знал, где я.

По этим кругам потом читали всё. Их за ту зиму на низинах и под стенами набралось девять — моих сухих и Вересовых ровных, — и весной их было видно с частокола, как видно на столе следы от горячей посуды. Сорок с чем-то человек ходили мимо и знали: вот здесь было плохо. Вот здесь было очень плохо.

Я тогда, стоя над первым, ничего этого не думал. Я думал только, что мне надо сесть.

И я сидел, считал всё это на пальцах и вдруг сообразил вещь, от которой мне стало холоднее, чем от воды.

За весь бой никто никого не прикрыл.

Ни разу. Не то чтобы бросили — никто не бросил, никто не убежал, все дрались. Просто каждый дрался в своём месте, и когда кому-то становилось плохо, это оставалось его личным делом.

Жарку выручил Петля — но он не выручал её, он закрывал дыру.

Меня закрыл Молчан — и он единственный, кто сделал это по своей воле, и он не может об этом сказать.

Гнёта вытащил я — но я его сначала туда поставил и не убедил остаться.

И был ещё один.

Про это я узнал не в тот день, а через неделю, и узнал не от него.

Когда Жарка ударила и села на свою кочку, вокруг неё стало пусто, и в это пустое место вошло четверо и пошло ей за спину. Их там не оказалось, когда Петля сместился. Их успел отвести Щур — с обожжённой рукой, с копьём, у которого горело древко, — он оттащил её за плечо на два шага и встал перед ней, и в это же время он же вытащил из воды Вереса, когда тот, сбитый в третий раз, сел мимо кочки и ушёл под воду с головой.

Двоих.

Он не сказал об этом ни слова. Ни мне, ни им, ни вечером, ни потом. Он весь тот вечер и весь следующий день говорил исключительно про рубаху.

Обратно шли долго, потому что несли Гнёта, а Гнёт был против.

— Я сам пойду.

— Ты лежи.

— У меня ноги целые!

— У тебя ключица, — сказал Верес с интересом. — Ты пойдёшь, у тебя её сведёт, и она срastётся горбом, и ты будешь до старости с плечом наперёд. И тебе будет неудобно натягивать лук, а это, между прочим, единственное, чему тебя тут могли бы научить, потому что...

— Верес.

— Молчу.

Верес не молчал. Верес всю обратную дорогу докладывал сам себе, что всё прошло удовлетворительно.

— Ты не думай, что было плохо, — говорил он мне. — Это было даже хорошо. Считаю сам: закрыто, потерь нет, ранены двое, из них один от своих, что вообще не считается за промаху. Я четыре раза чертил, но я же дочертил. Мальчишка жив. Ты, конечно, зря сжёг всё в четыре минуты...

Я на него посмотрел.

— А что? — сказал Верес. — Это же видно. У тебя лицо. И воротник. У всех, кто высапил Доспех до дна, потом одно и то же лицо и одна и та же соль, я это ещё в Дубках заметил, у нас там...

— Верес, — сказал Петля.

— Помолчу.

Щур шёл рядом со мной и держал обожжённую руку на весу.

— Рубаха, — сказал он.

— Я слышал.

— Рубаха была хорошая, — сказал Щур. — Некрашенная, две гривны. Я её на торгу в Дубках брал по случаю. Ты как думаешь, десятник, кто мне за неё?

— Никто.

— Вот и я так думаю, — сказал он с удовлетворением. — Просто хотел услышать от начальства, чтобы записать.

— Ты и руку записал?

— Рука отрастёт, — сказал Щур. — Рубахи не отрастают.

Блажь на самом краю низины, там, где кончилась мёртвая вода и начала опять отражать небо, остановился и обернулся.

Он постоял, глядя туда, откуда мы шли, и сказал — негромко, вежливо, как говорят на прощание тому, с кем не поссорились:

— Ничего. Вы приходите.

— Не зови, — сказала Жарка.

— Я не зову, я говорю. Они всё равно придут. — Он ещё постоял и добавил, уже другим голосом, тише и ровнее, будто читал по написанному: — Эти-то ничего. Эти ещё лезут.

— В смысле?

— В том смысле, — сказал Блажь, — что хуже будет, когда что-нибудь придёт и не полезет. Просто встанет и постоит.

И пошёл дальше.

Я в тот день не придавал этому никакого значения.

Жарка молчала всю дорогу.

Это было слышнее всего остального. Она молчала полторы версты — она, которая утром спорила со мной с первой фразы, — и молчала так, что Верес рядом с ней два раза сбился со своей арифметики.

Я подождал, пока остальные вытянутся вперёд, и пошёл рядом с ней.

Она не посмотрела.

— Скажи уже, — сказала она наконец.

— Что сказать?

— Что ты мне сделаешь. Ты решил уже. Ты всю дорогу идёшь и решаешь, я по спине вижу. — Она мотнула головой. — Только не надо, чтоб при них. Скажи сейчас.

— Я ничего не решал.

— Я попала в своего, — сказала Жарка. — Я третий раз попала в своего. За два года — третий. Первый был возчик, он выжил. Второй — сушильня, там никого не было. Теперь Щур.

Она произнесла это без выражения, как перечитывают список, который знают наизусть.

— Прежний десятник меня после второго раза отставил от прорех, — сказала она. — Четыре месяца. Я на кухне была. Так вот, чтоб ты знал: мне было хорошо. Вот это самое поганое, десятник. Мне было хорошо на кухне.

Я шёл и думал.

Я мог отставить её. Это было бы правильно, разумно, и это сэкономило бы кому-нибудь руку, и Петля вечером не поставил бы мне это в счёт.

— В следующий раз бей, — сказал я.

Она остановилась.

— Что?

— Бей, — сказал я. — Ты ударила верно. Их сгрудилось шесть, и по ним надо было ударить, и никто, кроме тебя, этого сделать не мог. Ты одна из одиннадцати сделала на той низине то, что было по обстановке нужно.

— Я обожгла человека.

— Ты обожгла человека, — согласился я. — Потому что не посмотрела, что у тебя за спиной. Вот это и есть твоя работа: смотреть, куда. Не «не бить». Смотреть, куда.

Она стояла и смотрела на меня, и я видел, что делаю ей больно, и не понимал чем.

Понял позже.

Я снял с неё возможность сидеть на кухне.

— Ты дурак, — сказала Жарка.

И пошла вперёд, и догнала остальных, и заговорила с Вересом громко и зло про что-то совершенно постороннее, и с этого дня у неё началось то, что кончилось только в конце зимы.

Гнёт всё слышал. Его несли в четырёх шагах.

Когда я подошёл, он смотрел в небо и молчал, и я решил, что он спит.

— Я бы сам, — сказал он.

Не «спасибо». И это, если честно, было даже правильно: спасибо человеку, который вытащил тебя из-под шишиг после того, как ты послушался его приказа, — это очень трудная вещь, и семнадцати лет для неё мало.

— Сам бы, — сказал я. — Через год.

Он повернул голову.

— Через год, — повторил я. — Ты хорошо шёл. Ты положил шесть штук, и удар у тебя правильный, и я в семнадцать так не бил. Тебе не силы не хватило. Тебе не хватило знать, где ямы.

Он молчал.

— Это не про тебя обидное, — сказал я. — Это просто время. Год — и ты будешь знать, где ямы, потому что ты в них к тому времени десять раз упадёшь. Моя работа — чтобы все десять были при мне, а не в одиночку.

Он ещё помолчал, а потом сказал — очень тихо, чтобы никто, кроме меня:

— У меня в голове гудит.

— Ударился?

— Не так, — сказал Гнёт. — Оно с утра гудит. С того, как я в первый раз ударил. И сейчас сильнее.

У него из носа пошла кровь.

Она пошла сама, без всякой причины, при чистом ровном шаге носильщиков: две тёмные полосы разом, из обеих половин, и он привычно, ловко утёр их тыльной стороной левой руки и посмотрел на меня — не испуганно, а как смотрят, когда очень не хотят, чтобы то, что ты видел, кому-нибудь досталось.

Я обернулся.

Верес шёл в трёх шагах и видел всё.

Он смотрел на эту кровь, и он молчал.

Он молчал долго. Я не могу сказать, сколько именно, но это было слишком долго для человека, который в этот день не молчал ни одной сотой части часа, и который вслух рассуждал о том, как правильно называть вещи, чтобы не обманывать себя.

— Верес, — сказал я.

— Да?

— Ты хочешь что-то сказать?

Он ещё немного посмотрел на Гнёта. Потом сказал:

— На заставе скажу.

И пошёл вперёд, и всю оставшуюся версту говорил только про рогатину, которая чужая, и про то, что с нас за неё вычтут.

Воевода принял доклад в четыре фразы.

— Закрыли?

— Закрыли.

— Потери?

— Ранены двое.

Он подтянул к себе лист, разлинованный на два столбца, и обмакнул перо.

— Прореха закрыта, — сказал он вслух, выводя. — Потерь нет.

— Двое ранены, — сказал я.

— Раненые — не потери, — сказал воевода, не поднимая головы. — Потери — это когда я в Вышеград пишу, что мне надо человека. — Он дописал строку, посыпал песком. — Копья все?

— Одиннадцать.

Вот здесь он поднял голову.

Он посмотрел на меня с настоящим, живым, человеческим огорчением — первый раз за двое суток, — и это огорчение было о четырёх копьях.

— Четыре, — сказал он.

— Четыре.

— Ну, десятник, — сказал воевода. — Ну ты и удружил.

Вечером я пошёл в оружейную и стал считать железо.

Я не собирался. Я вымылся у бани, отскрёб то, что было на руке до локтя, и хотел лечь и не вставать до утра, а ноги отнесли меня в оружейную, и я стоял там с плоской и считал: одиннадцать копий, три меча, шесть топоров, из кото

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.